

Алексей Руткевич

**ЧТО
ТАКОЕ
КОНСЕРВАТИЗМ?**

Университетская книга
Москва — Санкт-Петербург
1999

ББК 60.55
УДК 32
Р 90

Серия издается
под общей редакцией
доктора философских наук
А. А. Кара-Мурзы

А. М. Руткевич. **Что такое консерватизм?** – Университетская книга, 1999 – 224 с.

Книга представляет собой введение в теорию и практику современного консерватизма. В ней последовательно рассматриваются этапы истории консервативной идеологии, основные течения консерватизма XX века, политическая антропология и философия культуры, консервативные теории общества и государства, перспективы консерватизма в России.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

ISBN 5-7914-0018-5 (Библиотека либерального консерватизма)
ISBN 5-7914-0014-3



ISBN 5-7914-0014-3

© Руткевич А. М.
© Кара-Мурза А. А.
составление серии

Предисловие

Со всех сторон мы слышим сегодня: “Политика — грязное дело”, причем слышим это и от многих политиков. Здравый смысл говорит нам, что в политике участвуют такие же люди — они ничуть не более и не менее моральны, чем все прочие, но у них куда больше искушений. Мы ежедневно получаем подтверждения того, что эти соблазны слишком сильны, глядя на придворное окружение президента, на немалое число губернаторов, депутатов, мэров. Но до тех пор, пока мы сами их избираем, от нас зависит, кто нами правит. В обществе, где имеется одна партия с идеологическим аппаратом, рассказывающим нам о том, что мы живем в лучшем из миров, политика практически отсутствует. Борьба клик была при дворах всех абсолютных монархов — слово “камарилья” вошло в русский язык не при Ельцине; при деспотии один визирь свергает другого с помощью доноса, но от этого борьба между ними еще не является политической. Всюду, где решает только сила, нет людей, наде-

ленных правом выбора. Политика начинается там, где граждане свободно определяют свою судьбу, выбирают, как им жить друг с другом, кто будет ими управлять. Грубой силой сегодня можно господствовать над небольшой группой, но в государстве правящие должны опираться на право, на общее согласие, *consensus gentium*. Это предполагает некий набор норм и идеалов, разделяемых большинством членов сообщества, какое-то общее для них видение мира и человека. Повседневная политическая практика всегда связана с борьбой за власть, со стремлением к победе над конкурентами. Нет политика, у которого не было бы личных амбиций, и борьба между лицами, принадлежащими к одной партии и обладающими сходными воззрениями, зачастую является не менее ожесточенной, чем борьба с общим противником. Однако политика не сводится к удовлетворению честолюбия; у настоящего политика всегда имеется некое ядро убеждений, которые призвана реализовывать его деятельность в самых разнообразных ситуациях. Ленина или Троцкого, Вилли Брандта или Миттерана, Черчилля или де Голля вряд ли можно отнести к простым честолюбцам, желающим власти как таковой. Не всякий заметный политик является одновременно крупным политическим

мыслителем, но у него имеется круг идей и ценностей, которые выходят за пределы конкретных ситуаций, передаются из поколения в поколение. Политик без такой программы лишен единомышленников, а их не заменить личной “харизмой” — у подобных политиков иногда бывают толпы фанатичных приверженцев, но их окружение состоит из льстивых карьеристов и корыстных временщиков.

Программа любой партии включает в себя ряд конкретных мер, но главное в ней — те законы, по которым живет общество. Где построить завод, провести железную дорогу, открыть школу или посадить деревья — все это важно, но прямо не относится к миру политики. Конечно, мэр небольшого города может обходиться без программы или идеологии, пока он занят уборкой снега, отоплением и прочими необходимыми делами. Но этот город не находится на необитаемом острове, его граждане платят налоги, из которых лишь малая часть остается в городской казне. На что идут остальные зависит в том числе и от депутата парламента, избранного по данному округу. Место депутата могут оспаривать люди, между которыми нет значительных идейных расхождений, они могут быть даже ставленниками бандитов. Но перед избирателями они предста-

ют с программами, необходимыми хотя бы для того, чтобы показать, что стремятся они не только к власти, но хотят лучше всех прочих служить общим интересам. Государство представляет собой машину легитимного насилия, и нам нужно, чтобы обращено оно было против преступников, а не нас самих. Но определение того круга лиц, к которым следует применять насилие, уже зависит от идеологии. Для коммуниста всякое частное предпринимательство если не преступно, то едва терпимо, как некий “пережиток”; для консерватора преступны как раз те “комиссары”, которые заняты экспроприацией. От идеологии зависит и то, какие иностранные державы окажутся нашими союзниками или противниками, какую роль наша страна будет играть в международном сообществе.

Священники прошлого века говорили: “Входя в храм, нужно снимать шляпу, но не голову”. Идеологии не заменяют собственной головы и нужны они не для “промывания мозгов”, а для того, чтобы сограждане могли осуществить выбор между политиками, предлагающими им свои услуги. Сами идеологии образуют ядро того, что сегодня называется “политической культурой” группы или нации, причем идеология неизбежно видоизменяется,

интегрируясь в такого рода культуру. Англосаксонский консерватизм отличается от континентального, подобно тому, как итальянский коммунизм не похож на китайский. Идеология является лишь одной из составляющих политической культуры, поскольку она накладывается на верования и ценности сообщества. Политика реализуется не в пустом пространстве, но получает свой специфический словарь, канонические тексты, формы организации и общения из наличной культуры.

Без идеологии в этом смысле не обходится ни одно современное государство. В былые времена государственный порядок узаконивался божественной волей, провидением; люди покорялись тому меньшинству, которое стояло у руля и претерпевали чужую волю. Сегодня государство не обладает божественным авторитетом, и сам человек несет ответственность за происходящее. Конечно, и в наше время немалое число людей отворачивается от политики и как бы говорит: “дайте мне жить спокойно”. Всегда есть искушение сбежать от всех проблем, передоверив их решение кому-нибудь другому. В детстве мы полагались на родителей, и многие взрослые люди ведут себя так, словно они не выросли из пеленок. Этот инфантилизм устраивает прежде всего тех, кто хо-

тел бы захватить власть, а затем править с помощью насилия и пропаганды, говорящей, что эта клика стоит у руля по божественному праву или ее правление оправдано какими-то всемирно-историческими законами. Идеология делается религией, вернее, формой идолопоклонства. Но пока существует плюрализм идей и партий, идеология не означает обязательного государственного культа.

Идеологии представляют собой организующие волю людей проекты сосуществования. Ни одна из них не может претендовать на то, что является исключительно “научной”, словно именно ее носители знают последние тайны мира. Политик должен действовать в большей или меньшей неопределенности относительно последствий своих решений. Даже если в его “штаб” входят прекрасные экономисты, социологи и психологи, они не могут все просчитать — будущее от нас в основном сокрыто. Поэтому идеологии служат не только для мобилизации людей на совершение каких-то коллективных действий, они также организуют систему координат для самих политиков, делают их поступки прогнозируемыми для граждан. Если претендент в депутаты проходит по списку коммунистической партии, а затем начинает служить “приватизаторам”, он вызы-

вает подозрения в коррупции; если избранный под либеральные лозунги затем становится сторонником национализации всего и вся, то он лишается доверия проголосовавших за него и финансировавших выборы предпринимателей; сделавшийся апологетом атомных электростанций “зеленый” вообще будет каким-то “круглым квадратом”. Любая претендующая на власть партия должна обладать четко различимой идеологией; без нее “не работают” ни деньги, ни контроль над каналами телевидения, ни специалисты по обработке общественного мнения. Политики находятся в конкуренции за общественное мнение, за свой “вес” и ранг в глазах граждан. Разумеется, профессиональный актер или адвокат лучше выглядят перед камерами, чем косноязычный администратор; немалая часть населения “голосует сердцем” в отсутствие ума. Наличие у политика идеологии, т.е. какой-то совокупности идей и убеждений, позволяет нам не “покупаться” на предвыборные рекламные ролики.

Демократия предполагает разумный выбор индивида, но возможностей в таком выборе не так уж много. Мы не можем выбрать в качестве политического режима афинскую демократию, в которой должности замещались по жребию; в обществе с

множеством конфессий и преобладанием равнодушного к религии населения сторонники теократии не могут рассчитывать на успех. Можно сказать, что на протяжении последних полутора веков в странах с парламентским режимом борьба шла между тремя идеологиями: консервативной, либеральной и социалистической. Каждая из них образует большую “семью”, в которой имеются серьезные расхождения. Фурье и Оуэн, Маркс и Бакунин, Каутский и Ленин, Сталин и Бухарин, правящие ныне в большинстве европейских стран социал-демократы и какой-нибудь преследуемый ими левый террорист принадлежат одной социалистической “семье”. То же самое можно сказать о либералах и консерваторах. К последним может принадлежать и монархист, и республиканец, и верующий в Бога, и атеист, но это не меняет некоторых наиболее общих ориентиров. Имеются значительные различия, связанные с историей любого из этих “семейств” в том или ином государстве. Тем не менее, если мы возьмем семейный портрет, то при всех индивидуальных отличиях мы найдем сходства.

В мои задачи входит общее описание консервативного “семейства”. Эта задача является более сложной, чем в случае либерального или социалистического “порт-

рета”, поскольку консервативная идеология в меньшей мере опирается на универсальную доктрину, но в большей мере ссылается на традиции, а они различны в каждой стране. В России эта традиция была пресечена, подавляющее большинство людей — включая и многих профессиональных политиков — не имеют ни малейшего представления о консерватизме. О социализме они наслушались за долгие годы прежнего режима, о либерализме им уже десять лет толкуют по всем каналам телевидения. Поэтому трудности не сводятся к тому, что в небольшой книге нужно популярно рассказать о довольно сложных материях и постараться ничего не упустить (что вряд ли возможно). Жанр такой брошюры предполагает постоянное повторение некоторых основных идей, отсутствие ссылок на те или иные научные изыскания — я свел до минимума даже цитаты из классических трудов. Если бы я писал для специалистов, то не обошелся бы без детальной интерпретации текстов Аристотеля, Макиавелли, Гоббса или Бёрка; тогда мне потребовалась бы и полемика с теми, кто иначе, чем, я понимает оттенки консерватизма. Знатоку политической философии эта написанная в чрезвычайно сжатый срок книжка не скажет ничего нового, но не на него она и рассчита-

на. Слабо ориентирующийся в истории читатель, напротив, обнаружит в первой главе много неизвестных ему имен; я надеюсь, что у него еще появится возможность прочитать серьезные книги отечественных и западных авторов. Насколько мне известно, сейчас переводится превосходная книга видного американского консервативного социолога Р.Нисбета и ряд работ выдающегося консервативного философа Л. Штрауса; интересующийся первоисточниками читатель может отыскать труды Э. Бёрка и А. Токвиля, не говоря уж о вышедших в последние годы произведениях русских дореволюционных мыслителей.

Главная сложность заключается не в том, что у нас нет подходящей литературы и хорошо знающих историю западного или отечественного консерватизма специалистов, но в отсутствии политической традиции. Историк политических учений смотрит отстраненно, он даже обязан “брать в скобки” свои политические предпочтения — историк желает изобразить прошлое таким, каким оно было, не принося оценочных суждений. Это не всегда удается, но такова цель историка. Тот, кто является консерватором по убеждениям, неизбежно соотносит прошлое с настоящим и будущим — в прошлом его интере-

сует то, что дает повод для раздумий над актуальными вопросами современной политической ситуации. Поэтому русскому консерватору приходится на свой собственный лад воссоздавать утраченное, конструировать из опыта как наших предков, так и зарубежных консерваторов, зная при этом, что ни тот, ни другой прямо не применить к решению сегодняшних проблем. В нормальной ситуации таким конструированием занимаются совсем не консерваторы, а их оппоненты; консерватор, по определению, желает нечто сохранить, а не создавать заново. В данной работе мне неизбежно приходится сочетать объективное и непредвзятое изложение истории консерватизма с заинтересованным, “ангажированным” взглядом на предмет. Реконструкция всегда ведется с каких-то позиций. По дальнейшему изложению будет хорошо заметно, что у автора этих строк имеются предпочтения: либеральный консерватизм прошлого века, в духе Токвиля, более мне близок, чем монархизм той эпохи; в современном западном консерватизме мне ближе позиции так называемых “коммунитаристов” и практика крупных партий, вроде голлистов во Франции или ХДС в Германии, чем популяризовавшийся у нас в последние годы “неоконсерватизм”. В рамках консер-

ватизма различий не меньше, чем в лагере сторонников социалистической идеи, где анархисты, коммунисты, лейбористы и т.д. уже полтора века сводят друг с другом счёты.

Само собой разумеется, у каждого человека точка зрения определяется личным опытом. Лет десять тому назад, наподобие многих советских интеллигентов, автор этих строк был более или менее последовательным социал-демократом, отвергавшим коммунизм в пределах социалистического “проекта”. Я до сих пор считаю, что проведение реформ во многом шло бы у нас куда легче, если бы его проводили социал-демократы, а не те, кто у нас называл и называет себя “либералами” и “демократами”. Вопрос только в том, где их взять, — как говорит герой Достоевского, легко провозгласить республику, но где взять республиканцев? К консерватизму я пришел, находясь в 1990-1992 гг. во время научной работы в ФРГ, живя в земле Гессен, которой долгие годы правили социал-демократы с их “зелеными” союзниками. Наблюдение за тем, что несет господство либерализма в стране в целом и социализма в одной из его земель, способствовало постепенному повороту к консерватизму; наблюдение за происходящим у нас укрепило уверенность в том, что без возвраще-

ния к консервативным началам у России нет будущего. Я ссылаюсь на собственный опыт только для того, чтобы сказать об отсутствии у нас консервативной традиции: консерваторами на Западе если не рождаются, то отталкиваются от непрерывной линии развития. У нас разрыв был настолько глубоким, что я предпочел говорить в этой книге о консерватизме, почти не ссылаясь на отечественную традицию. Последний раздел книги, в котором говорится о русском консерватизме, можно было бы озаглавить: “Вместо заключения”. В мои задачи не входила реконструкция сложной истории отечественного консерватизма, описание различных течений и фигур — для этого потребовалась бы совсем другая книга (и даже не одна). Насколько мне известно, коллектив историков готовит к изданию посвященный этой теме серьезный труд; надеюсь, что за ним последуют и другие публикации, в том числе и в “Библиотеке либерального консерватизма”.

На отечественные традиции сегодня желают опереться представители самых разных политических партий. Иной раз мы сталкиваемся с чудовищными гибридами, вроде соединения марксизма-ленинизма с формулой “Православие, Самодержавие, Народность” у коммунистичес-

ких публицистов или ссылок иных “ультра-демократов” на Столыпина, который, будь он жив, предложил бы “приватизаторам” и журналистам из купленных олигархами изданий только свой “галстук”. Слишком многие сегодня рядятся в одежды предков, ничего, по существу, не зная об истории — достаточно посмотреть на тех, кто раздает дворянские титулы, надевает форму юнкеров или бесстыдно нацепляет георгиевские кресты, которыми награждали за мужество в бою. Нам не уйти от того факта, что традиция консервативной мысли была у нас пресечена, а потому всякая реконструкция оказывается субъективной. Для сравнения приведу такой пример: в Англии люди являются убежденными сторонниками или противниками династии, но институт монархии существует с малыми разрывами на протяжении всей английской истории, к нему все привыкли, он считается чем-то само собой разумеющимся; во Франции монархисты должны прибегать к рациональным аргументам, к доказательствам того, что монархия является наилучшей для французов формой правления. Так и консерватору в России приходится убеждать, что консерватизм не является чем-то чуждым, каким-то непонятно зачем привнесенным “тэтчеризмом”, что он представляет собой

жизнеспособную идеологию, имеющую глубокие исторические корни. Правда, положение хоть либералов, хоть социалистов у нас ничуть не лучше: нельзя же считать Сталина, Хрущева или “перестроившегося” и вовремя “выдавившего из себя раба” члена Политбюро предтечами современной социал-демократии, а всякого нынешнего казнокрада — “либералом” и наследником Милюкова. Нормальные политические партии у нас находятся в процессе становления, а наши “харизматические” политики постепенно убеждаются в том, что им не обойтись без идеологически обоснованных программ. Остается надеяться, что и на левом, и на правом фланге политического спектра у нас возникнут настоящие партии, и одной из них будет консервативная.

История

Предшественники

Под определением консерватизма, данным в Большой Советской Энциклопедии 70-х гг., подписались бы многие “левые” прошлого и настоящего, несмотря на всю его тенденциозность: “Консерватизм — приверженность ко всему устаревшему, отжившему, косному; враждебность и противодействие прогрессу, всему новому, передовому в общественной жизни, науке, технике, искусстве”. В книгах и статьях левых критиков консерватизма он сводится к апологии существующих порядков, к ностальгии по утраченным привилегиям. “Приверженность к отжившему и косному”, “враждебность к новому” или корыстолюбие мы должны в таком случае обнаружить у Пушкина, Гёте, Достоевского, которых не без оснований зачисляют в консерваторы. Можно сравнить это определение с тем, как формулировал программу первой консервативной партии ее лидер Роберт Пиль, писавший, что целью

партии является проведение экономических и социальных реформ, при сохранении общественного порядка. Другой лидер британских консерваторов Б. Дизраели не случайно говорил о “консервативной демократии” в ту эпоху, когда чуть ли не бранным словом для английских вигов была именно “демократия” — они противились расширению числа избирателей, тогда как именно консерваторы провели билли, резко увеличивающие количество лиц, имеющих право голоса, в 1832 и 1867 гг. В 19-м веке либералы во Франции всячески сопротивлялись *suffrage universel*, а добивались его не столько “демократы”, сколько бонапартисты.

Консерватизм, либерализм и социализм появляются как политические движения практически одновременно в 30-е гг. девятнадцатого века. Конечно, у них имелись предшественники, вроде партий тори и вигов в Англии. Слова “либерал” и “консерватор” стали широко употребляться во Франции в 20-е гг. во время Реставрации. Вероятно, слово “консерватор” в смысле политической ориентации получило хождение в силу популярности выходившей в 1818-1820 гг. газеты “*Le Consevateur*”, которую выпускал Шатобриан. Во всяком случае, в Англию и в Германию оно приходит в начале 30-х гг. Еди-

номыслия среди консерваторов в ту пору было не больше, чем среди либералов и социалистов. Скажем, во Франции и “легитимисты”, и “орлеанисты” называли себя консерваторами, но раздоры между ними затрагивали не только вопрос о легитимности той или иной династии, но касались и прошлого (отношение к революции), и широкого круга социальных и политических проблем. Не было согласия между Бональдом и Шатобрианом среди легитимистов, между Гизо и Токвилем среди “орлеанистов” и т.д. Только для большевиков монархисты, октябристы и кадеты могли сливаться в какое-то единое целое, определяемое классовым интересом помещиков и крупной буржуазии.

Левые критики консерватизма (как либералы, так и марксисты) часто утверждают, что консерватизм вообще сводится к “реакции” на Просвещение и Революцию, на рационализм Нового времени. Либералы и социалисты “разоблачают” консерватизм как небескорыстное отстаивание интересов тех сословий, которые отжили свой век, но еще пытаются сохранять свои привилегии, ссылаясь на незыблемость традиций или даже на природу человека. В этой критике есть доля истины, если принимать во внимание политическую практику некоторых консервативных пар-

тий 19-20 вв. Но не больше, чем в полемических трактатах и статьях консерваторов, в которых единственной целью революционных вождей оказывается достижение власти путем террора. Трактовка консерватизма в целом исключительно как “реакции” на рационализм, Просвещение и прежде всего на французскую революцию вообще лишает консервативную идеологию всяких корней. Подразумевается, что у либералов и социалистов, конечно же, имеются предшественники, поскольку к “прогрессу” человечество всегда стихийно тянулось, а то и вело ради него непрестанную “классовую борьбу”, тогда как консервативная мысль “реакционна” хотя бы в том смысле, что она была пробуждена от сна вместе с кризисом *ancien régime*. Пока существуют традиции, их сторонники просто не мыслят, но слепо им следуют, тогда как свободная и смелая мысль всегда и везде является собственностью “левых” и их предшественников. Эта мысль ведаёт сомнения, а потому ставит под вопрос сущее, тогда как все прочие образуют некое послушное стадо. В области политики этот освобожденный разум, естественно, стремится к демократии, свободе, равенству и рациональному правопорядку.

Эта картина представляет собой карикатуру на развитие не только политичес-

кой философии, но и мысли вообще. Во-первых, многие поистине революционные перемены осуществлялись теми, кто пытался вернуться к традиции. Скажем, Конфуций выдвинул программу “восстановления имен” и общества, целиком управляемого древними ритуалами, но тем самым создал доктрину, которая на века определила китайскую цивилизацию. Целые эпохи жили идеями возрождения давних образцов — достаточно вспомнить Ренессанс и Реформацию, видевших пример для подражания в античности или в раннем христианстве. Во-вторых, освобожденный сомнениями разум слишком часто служил вовсе не демократии и всякого рода правам и свободам. В том же Китае легионы критиковали традиционализм конфуцианцев с целью утверждения деспотической власти императора; греческие софисты делились своими идеями с тиранами, а “Государя” Макиавелли трудно отнести к произведениям, которые могли бы послужить делу демократии.

Защита того или иного порядка вообще не может служить определением какой бы то ни было идеологии. Уже поэтому к консерваторам нельзя без разбору относить всех тех, кто хочет сохранить какой-то устоявшийся порядок: казнившие Сократа, подвергавшие остракизму других великих

мыслителей (Анаксагора, Протагора, Аристотеля) афинские демократы защищали привычные для них формы власти и религии. Отстаивавших “развитой социализм” во времена “перестройки” членов ЦК КПСС во главе с Лигачевым наша бодрая пресса зачислила в “консерваторы”, хотя трудно было найти более далеких от консерватизма людей. Инстинкт самосохранения дорвавшегося до власти тирана совсем не “консервативен”. Разумеется, мы можем назвать “консервативным” человека, который не любит новомодные теории, моральную распущенность или авангардистское искусство, но эстетические вкусы или следование строгим моральным нормам не имеют прямого отношения к политическим позициям. Иной раз вообще трудно сказать, кто был консерватором, а кто — революционером. Во времена Александра Македонского консерваторами были и Демосфен, отстаивавший традиционные полисные порядки, и племянник Аристотеля, осужденный за нежелание падать ниц перед Александром, и будущий правитель эллинистического Египта Птолемеи, считавший себя, как и своего родственника Александра, заслуживающими царских регалий потомками Геракла. Старобрядцы в каком-то смысле были консерваторами, поскольку защищали при-

вычные формы литургии, но Никона трудно записать в “революционеры” — он ссылался на греческие образцы в рамках той же православной традиции. Возьмем пример из недавней истории: кто был консерватором в Иране — шах Реза Пехлеви, праздновавший незадолго до своего свержения 2,5-тысячелетие персидской монархии, или аятолла Хомейни, стремившийся восстановить ислам во всей его чистоте? Кого можно записать в консерваторы в современной России — правых либералов, осуществляющих реформы, или коммунистов, им противящихся? К консерваторам можно отнести ученого-гуманитария, противящегося какому-нибудь модному поветрию, вроде “постмодернизма”, социал-демократа, отстаивающего “социальное рыночное хозяйство” от монетариста (даже именующего себя “неоконсерватором”) — любой защитник утвердившегося порядка в таком случае является консерватором. Нет человека, который существует вне истории, не соотносится с той или иной традицией и способен поставить под сомнение все образцы прошлого.

Политическая философия возникает в эпоху кризиса античных городов-государств. Именно в это время появляются теории, которые легли в основание консервативной идеологии. Разумеется, спо-

ры между философами были связаны с политической борьбой, с уже имевшимися в наличии партиями. Либералы часто ссылаются на речь Перикла в “Истории” Фукидида, прославляющую демократические порядки в Афинах. Консерваторами в то время были не те, кто хотел бы вернуть власть родовой аристократии или возвратиться к монархии, но сторонники умеренной демократии, вроде Кимона Афинского. В области политической теории защитниками крайней демократии были софисты, тогда как их противником был Сократ, который подверг беспощадной критике ту форму народовластия, при которой основные должности распределялись по жребию. Всевластие афинского демоса вело к тому, что правителями и полководцами становились явно некомпетентные лица. Примером знаменитой иронии Сократа был его совет, данный афинянам, когда у них обнаружилась нехватка коней: решить этот вопрос на народном собрании и путем голосования превратить ослов в лошадей. Идеалом для него было не правление родовой знати (аристократия) или господство богачей (олигархия), но власть знающих и умеющих, которая впоследствии получила имя “меритократия”, т.е. власть лучших по личным заслугам, наиболее достойных.

Хотя консерваторы чтят Платона как величайшего мыслителя древности, его утопия привлекала их куда меньше, чем более реалистичная политическая философия Аристотеля. Можно сказать, что проведенный Аристотелем анализ форм правления и сделанные из него выводы до сих пор в значительной мере определяют консервативную политическую теорию. Власть одного (монархия), власть немногих (аристократия) и власть большинства (демократия) сами по себе могут лучше или хуже подходить тому или иному народу, у всех этих форм имеются свои достоинства и недостатки. Но все они нестабильны и легко могут превращаться в дурные режимы: монархия — в тиранию, аристократия — в олигархию, демократия — в охлократию, власть толпы, черни. Устойчивостью обладает форма правления, сочетающая в себе лучшие качества монархии, аристократии и демократии, которую Аристотель назвал “политией”. В известном смысле современная парламентская демократия соответствует “политии” Аристотеля, которую, как он писал, “мы получили бы, если бы взяли из олигархии и демократии по одному из отличительных для них признаков в деле замещения должностей, а именно, из олигархии — то, что должности замещаются по избранию,

а из демократии — то, что это замещение не обусловлено цензом”¹. По существу, это первое определение представительной демократии с всеобщим избирательным правом.

Возникшая в Древней Греции классическая политическая теория получила развитие в Древнем Риме, где само устройство республики отчасти напоминало “политию”. Изгнав царей, римляне сохранили функции монархов за избираемыми на срок консулами, аристократическое начало представлял Сенат, тогда как плебс избирал народного трибуна, наделенного правом вето на любые решения Сената. Борьба двух партий — “оптиматов” и “популяров” — многими чертами напоминает конфликты правых и левых партий нашего времени, причем для консерваторов всегда было важно то, что цезаризм был рожден именно “левыми” той эпохи. Наиболее значимой для консерваторов фигурой древнеримской политики является Цицерон, который был не только защитником республики от заговорщиков, вроде Катилины и Цезаря, но также тем мыслителем, который связал наилучшую форму правления с идеей “человечности” (*humanitas*) и “культуры”, воспитания граждан. В отличие от греческих философов, ставивших на первое место созерца-

ние, теоретическое познание мира, Цицерон считал первейшей задачей философии осмысление практических задач. Разумеется, речь не шла о том, чтобы философы занимались решением любых вопросов хозяйства или управления, а государственные деятели были “философами на троне”. Философия нужна для того, чтобы увидеть связь политики с законами, управляющими природой и общественной жизнью — без мысли всякая политика слепа, без связи с практикой, с опытом философия пуста.

В классической политической теории главным является вопрос о лучшей жизни, об общем благе и справедливости. Политика неразрывно связана с этикой, практика понимается не как совокупность технических умений, но как взаимодействие между людьми. Законы этики или права отличаются от законов природы: камень падает в силу притяжения в любых обстоятельствах, исполнение нравственного закона или правового установления зависит от воли человека. Поэтому классическая политическая теория не объясняет действия людей какими-то универсальными законами, вроде законов математики или физики; ее задача состоит в том, чтобы с помощью разума найти наилучшие формы сосуществования.

С Макиавелли и Гоббса начинается политическая философия иного типа: мыслитель устанавливает всеобщие законы такого же плана, как законы природы, и советует, как их с максимальной выгодой использовать государю. Хотя и Макиавелли, и Гоббс, и Гегель для многих консерваторов являются авторитетными предшественниками — вплоть до того, что споры между консерваторами и либералами иногда выглядят как своего рода дискуссия между сторонниками Гоббса и Локка — именно консервативная политическая теория в наибольшей мере сохранила связь с классической философией, которая имела дело с полисом, потом с национальным государством, а не с “законами истории”, которые сами, чуть ли не без участия людей ведут человечество “по пути прогресса”. Для консерватора всякое политическое действие проистекает из желания добра или зла — потому оно всегда связано с вопросом о благе. Будучи общественными существами, мы вынуждены действовать и общаться с другими, а это толкает нас к познанию того, что является благом для индивида и для общества.

Из этого стремления рождается политическая философия, которая не тождественна политической мысли вообще. Философия есть стремление заменить мнение

знанием. Она не является идеологией, поскольку не держится определенного социально-политического порядка, ее интересует прежде всего истина. Отличается она и от политической теологии (как знание человеческое, а не богооткровенное), и от “политической науки”.

Попытки замены политической философии экономикой, социологией, социальной психологией, соединяемым в некую “политологию”, негативно оцениваются большинством консервативных мыслителей. Четче всех об этом писал выдающийся американский философ Л. Штраус. Господство позитивизма, провозглашение политической науки “этически нейтральной” имеют своим результатом не “объективность”, но безразличие к ценностям, а оно ведет к нигилизму. Для ученого высшей ценностью является истина, но сама наука ничего об этой ценности не говорит: физика ведь не утверждает, что сама она — благо. Не годятся и ссылки на “полезность”. Во-первых, утилитарную ценность нельзя сделать тождественной ценности истины. Во-вторых, “полезным” знание бывает и для осуществления явного зла. Без демократии развитие политической науки не было бы возможно, но сама демократия есть ценность вне политической науки. В отличие от природных процес-

сов, социальные явления не лежат “по ту сторону добра и зла”, но оцениваются нами — уже язык описания является оценочным (скажем, “демократичный” и “авторитарный” типы личности). Сама дифференциация “политического” и не относящегося к этой сфере зависит от отнесения к ценности. Изгоняемые позитивистами в дверь, ценности возвращаются через окно, протаскиваются тайком, только высшими ценностями оказываются хитрость и сила.

“Освободив” факты от ценностей, позитивисты прокладывают путь релятивизму в морали и политике. Наука, которая с легкостью забывает о различии между людьми и скотами, очень скоро становится служанкой утративших человеческий облик хищников. Такая наука, служащая фундаментом для всякого рода “технологий” обработки общественного мнения, прокладывает путь к тирании. Оценивая современную политологию со всеми ее рецептами, Штраус писал: “Только круглый дурак станет называть новую политическую науку дьявольской: у нее нет ни малейших атрибутов падших ангелов. Она не является даже макиавеллизмом, поскольку учение Макиавелли было изящным, тонким и красочным. Она не является даже нероновской. Тем не менее, о ней можно ска-

зать, что она музицирует, когда горит Рим. Ее извиняют только два обстоятельства: она не знает того, что она играет, и она не знает того, что Рим горит”².

Классическая политическая философия возникает вместе с кризисом традиции, а потому сама она не является традиционализмом. Взгляд на политику у философа тот же, что у просвещенного гражданина и государственного деятеля, но только видит философ в этой перспективе дальше. Но смотрит он не со стороны, не как незаинтересованный наблюдатель, но критически оценивая существующий политический порядок. Он ищет лучший политический режим, а потому вопрос стоит о справедливости, благой жизни индивида, которая невозможна в дурном обществе. Хороший гражданин гитлеровской Германии вряд ли был бы хорошим гражданином при каком-либо другом режиме.

В истории мы часто встречаем близкую консервативной позицию не у каких-то реакционеров, но у разумных реформаторов, которые сталкиваются с непониманием и охранителей, и революционеров. Скажем, типичным консерватором в этом смысле является Эразм Роттердамский в своей полемике с Лютером. По одну сторону мы находим разум, стремление к постепенным реформам, идущим вместе с про-

свещением и улучшением нравов, по другую — страстное “революционное” отрицание. Подобные столкновения этих двух типов мы обнаруживаем и позже — достаточно вспомнить о сложных отношениях Юма и Руссо. Герой раннего романа О. Хаксли противопоставляет эти два типа как раз под именами Эразма и Лютера: по одну сторону стоят рациональные аргументы, по другую — безумные страсти: “У Эразма были только разум и честность, но у мудреца не было власти вести за собой людей к действиям. Европа последовала за Лютером и вступила в полтора века войн и религиозных преследований”. Вывод таков: “Мы уже не можем предоставлять мир воле случая. Мы не должны допускать появления опасных маньяков — сошедших с ума из-за догматов, как Лютер, или маньяков вроде Наполеона, свихнувшихся из-за своих личных претензий, — чтобы они все переворачивали вверх дном. В прошлом это было не так уж страшно; наши машины все изменили, сделав мир хрупким. Парочка ударов, вроде последней великой войны, парочка новых Лютеров, и все будет разнесено в клочья”. Если иметь в виду, что это было написано в начале 20-х гг., т.е. до Гитлера и Второй мировой войны, то аргументы такого рода становятся еще более убедительными. Можно себе

представить, что американцы вполне могли иметь в Иране базы с атомными бомбами (имели же они их в Турции, что и вызвало Карибский кризис), которые вдруг оказались бы в руках Хомейни. Сама демократия дает свободу действия не только политическим, но и религиозным группам, иные из которых представляют несомненную угрозу. Сохранение разумного порядка требует ограничений некоторых прав. Подобно тому, как мы мешаем человеку покончить с собой и вытаскиваем его из петли, так и самоубийство всего общества нужно предотвращать, даже если для этого нужно умерить права некоторых экстремистов из политических или религиозных меньшинств.

Таким образом, консерватизм имеет долгую историю и никак не сводится к реакции на Просвещение, Революцию и рационализм Нового времени, как то утверждают его левые критики. Можно сказать, что они просто повторяют немецкого социолога К. Мангейма, писавшего: “Консервативная мысль появилась как независимое течение, когда ее вынудили к сознательной оппозиции буржуазно-революционной мысли, способу мышления, основанному на идее естественного права”³. Мангейм прямо связывает консерватизм с романтизмом, в котором видит исключи-

тельно отрицание Просвещения. При этом он рассматривает не европейский романтизм в целом (это затруднило бы его доказательство происхождения консерватизма “из духа романтизма”), но исключительно немецкий романтизм: “Контрреволюция появилась не в Германии, но именно в Германии были наиболее точно продуманы ее лозунги и извлечены из них логические выводы... Германия сделала для идеологии консерватизма то, что Франция сделала для Просвещения”¹. Консерватизм определяется как романтическая реакция на теоретический и политический рационализм Просвещения, как “функция одной специфической ситуации”, как несамостоятельное, реактивное направление мысли — у него нет даже собственного содержания, поскольку он сведен к отрицанию “прогресса”.

Мангейм задал образец для “левой” критики, поскольку этот тезис мы в той или иной форме найдем у многих современных авторов. Правда, в отличие от позднейших “левых”, Мангейм еще делал известные оговорки — в 20-е гг., когда он писал свою книгу, еще было принято хоть как-то считаться с требованиями научности, не подменяя аргументацию разоблачительной “игрой на понижение” и поис-

ками предвестия национал-социализма чуть ли не во всей немецкой мысли. Мангейм даже признавал, что первый признанный теоретик немецкого консерватизма Ю. Мёзер романтиком вовсе не был и написал свой главный труд за пару десятилетий до французской революции и появления романтизма, причем не так уж расходясь с “духом Просвещения”. В “Оснабрюкской истории” Мёзера четко прослеживаются основные тенденции немецкого консерватизма: противопоставление локального и провинциального централизованному государству, идеализация средневековой цеховой организации, сомнение в способности разума сознательно направлять историю.

В Германии начала 19-го в. консерватизм, действительно, был связан с романтизмом, хотя и тогда иные романтики поддерживали революцию, а впоследствии такой романтик, как Гейне, был близким другом и единомышленником Маркса и Энгельса. Однако выведение консерватизма из романтической реакции на Просвещение и революцию уже совершенно не годится, когда мы обращаемся к классическому варианту консерватизма, получившему развитие в Англии и в Америке. Конечно, “Размышление о французской революции” Эдмунда Бёрка было откликом

на революцию. Но следует иметь в виду, что трактат Бёрка вышел еще до кровавого террора якобинцев, в 1790 г., когда революция только начиналась. Романтиком Бёрк не был, по ряду своих идей он был типичным представителем британского Просвещения. Бёрк ностальгически восклицал: “Но век рыцарства прошел. За ним последовал век экономистов, софистов и калькуляторов”, но он не был противником парламентаризма или буржуазного порядка вообще — он полностью принимал экономическую теорию своего друга Адама Смита и буквально превозносил “Славную Революцию” 1688 г., которая была для него восстановлением традиционных вольностей и прав, закрепленных уже в хартии 1215 г. Контроль парламента над казней, независимость суда, невозможность взятия под стражу без судебного разбирательства, свобода слова и вероисповедания — все это результаты постепенной эволюции по мере просвещения и совершенствования нравов. Бёрк был одним из самых известных в Англии сторонников американской революции, протестовал против английской колониальной политики в Ирландии и критиковал правительство за захваты земель у американских индейцев. Французская революция вызвала у Бёрка негодование именно сво-

им духом отрицания и разрушения: во имя абстрактных формул к власти пришли узурпаторы, пользующиеся демагогией для разнуздания низменных инстинктов толпы. Члены Национального собрания отошли от наказов избиравшего их населения, а затем “санкционировали измены, грабежи, насилия, убийства, кровопролития и пожары, распространившиеся по всей опустошаемой стране”. Его воззрения на французскую революцию являются логическим следствием именно характерных для британского Просвещения позиций. Всю шотландскую школу не случайно связывают с партией тори; Бёрк просто изложил те идеи, которые парой десятилетий раньше развивал Юм. Хорошо известно, что Юм был сторонником гражданских свобод, антиклерикалом и даже сочувствовал республиканской форме правления, хотя в идеальной республике Юма правом голоса было наделено даже меньшее число лиц, чем в Англии его времени. Малограмотной толпе нельзя давать возможность выбирать членов парламента, поскольку она выберет горлопанов и демагогов — право голоса должно принадлежать незначительному числу богатых и образованных. “В реальной жизни, — писал Юм, — нет ничего более ужасного, чем полный распад системы правления, который пре-

доставляет массе свободу и делает определение или выбор нового строя зависящим от числа людей, которое почти приближается к численности этого народа”⁵. Юм был противником не только революции, но и поспешных реформ: “Так как человеческое общество находится в постоянном движении и ежечасно один человек покидает мир, а другой вступает в него, то для сохранения устойчивости правления необходимо, чтобы люди нового поколения приспособились к установившемуся порядку и следовали примерно тем путем, который их отцы, идя по стопам своих отцов, проложили до них. Некоторые нововведения в силу необходимости должны иметь место в каждом человеческом учреждении, и они удачно осуществляются там, где просвещенный гений века направляет их к разуму, свободе и справедливости. Но ни один человек не имеет права делать насильственных нововведений; опасно пытаться вводить их даже при помощи законодательства; от них всегда можно ожидать больше зла, чем добра”⁶. Резкая критика теории общественного договора (прежде всего в редакции Локка), провозглашение верноподданства долгом, а беспрекословного повиновения правителю добродетелью, конечно, сочетаются у Юма с вольнодумством и неприятием дес-

потизма. Но ту же защиту гражданских свобод и прав личности можно найти в “Размышлении” Бёрка, который видит в революции угрозу деспотизма и дикого насилия. Он был наделен даром предвидения, поскольку мало кто и во Франции, и в других странах Европы предполагал, что революция выльется в террор и непрерывные войны. Историки французской революции, особенно из числа “левых”, часто забывают не только о якобинском терроре и снесенных картечью деревнях в Вандее или кровавой бойне в Лионе (об этом напоминают их противники), но о неистовстве толпы 1792 г., которая училась “творить историю”. Во взятом штурмом аббатстве Сен-Жермен истребляют монахов, в захваченном госпитале Сальпетриер насилуют беспризорных воспитанниц — список героических деяний учившихся творить историю “революционных масс” можно было бы продолжить.

Британский консерватизм возник в рамках Просвещения, он не был на него “реакцией”. То же самое можно сказать об американском консерватизме, истоки которого обнаруживаются уже в статьях отцов-основателей американской республики — Джон Адамс или Александр Гамильтон тоже не были “реакционерами”. Безусловно, на континенте консерватизм был в

значительно большей степени монархической реакцией на революцию. Но и здесь консерватизм формировался задолго до романтизма. Французские просветители, стоит сказать, в большинстве своем тоже не были большими поклонниками массовой демократии: Монтескье и Вольтер в политической философии ориентировались на британские образцы, причем Монтескье оказал значительное влияние на немецких консерваторов своей теорией “общего духа народа” (*esprit général*). В эпоху Реставрации к Монтескье обратились и некоторые французские умеренные монархисты.

Но Монтескье важен для понимания истории консерватизма и в другом отношении, поскольку у него еще хорошо видны следы той аристократической критики деспотизма и абсолютизма, которая была непосредственным предшественником консервативной мысли. В полемике времен Фронды, в нелюбимом изображении жизни королевского двора “короля-солнца” у герцога Сен-Симона мы уже находим следы современного консерватизма. Аристократы того времени отстаивали не только собственные привилегии, но также права провинций, парламентов, гильдий и т.п. институтов *ancien régime*, которым угрожала централизованная аб-

солютная монархия. Государственному аппарату ими противопоставлялось гражданское общество (*societas civilis*), в котором не только за феодалами, но и за любым свободным человеком (патриархальным хозяином в собственном доме) признавались определенные неотъемлемые права. Во Франции прямым наследником аристократической критики централизованного абсолютистского государства был один из основоположников либерального консерватизма А. Токвиль, который в “Старом порядке и революции” показал генетическую связь революции с абсолютной монархией.

Все это опровергает выдвинутый Мангеймом и развитый “левыми” тезис о “реактивности” консерватизма, который изначально не был мировоззрением каких-то “романтичных” феодалов, желающих сохранить свои привилегии. Его вообще нельзя свести к интересам одной социальной группы. Часто французская революция изображается как бунт всего третьего сословия против монархии и феодальных привилегий. Стоит напомнить, что за свои привилегии аристократы не так уж сильно держались — от них они добровольно отказались еще в начале работы Национального собрания (“чудесная ночь” в августе 1789, когда депутаты-дворяне единоглас-

но проголосовали за их отмену). Важнее то, что ancien régime поддерживали многочисленные группы третьего сословия. Против реформ, предложенных Людовику XVI Тюрго, а затем и революции, выступало не только дворянство, но также значительная часть буржуазии, представители цехов и гильдий. Именно эти группы были первыми носителями консерватизма, а потому в первые десятилетия 19-го века консервативная идеология выражала интересы целого ряда социальных слоев, существование которых оказалось под угрозой в результате капиталистической индустриализации.

Консерватизм XIX века

Либералов и консерваторов, равным образом отталкивавшихся от идей Просвещения, развело по разным партиям (а то и по разные стороны баррикад) прежде всего отношение к революции. Со всеми оговорками по поводу якобинского террора, либералы на протяжении всего 19-го в. были сторонниками революций, тогда как консерваторы считали их пагубными даже в том случае, если по ряду других вопросов они соглашались с либералами. Можно сказать, что спор этих двух партий начинается именно во время французской

революции (скажем, с полемики Бёрка и Д. Пристли). Этот спор шел не только по поводу политических событий, но также фундаментальных вопросов социальной теории. Стали лучше видны последствия “смелых” идей. Революционные следствия выводились из доктрины “общественного договора”, признания “естественных прав”, которыми наделен человек любого общества. Консерваторы отвечали, что такой “человек вообще” не существует. Как писал Ж. де Местр, он в своей жизни видел французов, итальянцев, русских: по книгам ему известно, что есть и люди невиданных им народов, но он никогда не встречал “человека вообще”, а потому “конституция, которая создана для всех наций, не годится ни для одной: это чистая абстракция, схоластическое произведение, ... с которым надобно обращаться к общечеловеку в тех воображаемых пространствах, где он обитает”⁷.

Полного единомыслия между консерваторами никогда не было, поскольку одни из них были откровенными монархистами, желавшими восстановления трона и алтаря, а другие считали, что поставленные либералами цели достижимы путем постепенной эволюции, тогда как революционное насилие неизбежно отбрасывает общество к варварству. Как писал Карам-

зин: “Революция объяснила идеи, мы увидели, что гражданский порядок священен даже в самых местных или случайных своих недостатках... что все смелые теории ума... должны остаться в книгах”. Уже первые консервативные критики революции заметили, что революции поначалу бескровны, пользуются поддержкой немалой части народа, включая самые просвещенные его слои — во Франции прологом революции был своего рода “бунт” аристократии (1788 г.). Во главе революционного движения идеалисты, обещающих всеобщее благоденствие, сменяют фанатики, авантюристы (“спортсмены революции”, как они были названы в романе А. Белого) или просто циничные карьеристы. Демагоги от имени народа требуют “углубления революции” и все новых кровавых жертв, пока на последнем этапе один из вождей не истребляет всех конкурентов, устанавливая единоличную диктатуру. Поэтому не столько желание восстановить привилегии аристократов, сколько стремление разорвать этот порочный круг революции вело консерваторов к мысли о восстановлении легитимных династий. Вдохновителями Реставрации были Де Местр, Бональд и ряд других мыслителей, главным европейским идеологом — князь Меттерних. Однако было бы неверно относить к

консерваторам монархические дворы Европы. Консерватизм существует не в условиях абсолютных монархий, но при парламентском режиме как одна из партий. Более того, даже консерваторы-монархисты выступали во время Реставрации как оппоненты реально существовавшего режима. Так, французские легитимисты из “бесподобной палаты” считали своим идеалом вовсе не абсолютизм Людовика XIV, который они осуждали как деспотический, но предшествующие формы монархии, предполагающие свободы провинций с их парламентами. В централизованной бюрократии они видели худшее наследие революции и империи “узурпатора”. Другая группа монархистов, оказавшаяся у власти после революции 1830 г. (получившая имя “орлеанистов”), представляла близкий англосаксонскому вариант либерального консерватизма.

Сходную ситуацию мы обнаруживаем и в других странах. Политические позиции редко встречаются в “чистом” виде, без множества оттенков и всякого рода промежуточных звеньев. Либерализм и консерватизм повсюду то сочетались, то противостояли друг другу. Американскую конституцию можно считать первым государственным документом, созданным консерваторами: в ней хорошо видны отли-

чия от либеральной по духу “Декларации независимости”. В США по понятным причинам никогда не было монархического консерватизма, а сам консерватизм был либеральным. В разные эпохи более консервативные позиции занимали то демократы, то республиканцы. В Великобритании отличия между консерваторами и либералами были куда более четкими, хотя английские и шотландские тори по своим воззрениям иной раз были ничуть не “правее” вигов. В Германии консервативная идеология была, казалось бы, самой реакционной, выражая интересы множества феодальных дворов. Но в Пруссии реформы начала века после поражения в войне с Наполеоном проводили близкие консерватизму политики, а объединявший впоследствии Германию Бисмарк был одним из виднейших консерваторов в немецкой истории.

Примеров такого рода несовпадений практической политики с “ярлыками” партий хватает и в истории других стран. Скажем, в Австро-Венгрии во второй половине 19-го в. либералы (по названию — стремящиеся к свободам для всех людей) были откровенными националистами, желавшими “онемечить” чехов и венгров, выступавшими за имущественный ценз для избирателей, тогда как консерваторы пы-

тались учитывать национальный состав империи и провели закон о всеобщем избирательном праве. Если смотреть не на отдельные факты, а на общую тенденцию, то можно сказать, что во второй половине 19-го века в основных европейских странах консерваторы постепенно утрачивают прямую связь с сословиями старого порядка и интересами крупных лендлордов. В эти партии вступает немалое число средних и мелких землевладельцев, значительная часть городской буржуазии. Консерваторы проводят политику протекционизма, выгодную не только аграриям, но и крупной национальной промышленности. Становясь из сословных общенациональными (правда, рабочие в них в то время практически отсутствовали), консервативные партии сохраняют связи с церковью и институтами конституционной монархии, но о реставрации абсолютизма или привилегий дворянства не говорится уже ни в одной консервативной программе.

Одно из главных отличий консерватизма от либерализма заключалось в критике индивидуализма, утилитаризма и социального атомизма. Консерваторы хорошо видели недостатки “манчестерского капитализма” и социальные проблемы, вызванные погоней за прибылью в эпоху

“грюндерства”. Стоит заметить, что социалисты первой половины 19-го в. многое позаимствовали у консервативных критиков капитализма. В качестве примера можно привести сочинения молодого Дизраели, возглавлявшего организацию тори “Молодая Англия”, или проповеди Ламенне, переходившего в 30-е гг. от легитимизма к христианскому социализму. Но лучше всего эта связь видна по Германии. Даже марксизм со своими претензиями на “научный социализм” многое унаследовал не только от консерватора-Гегеля, но также от немецкого романтизма. В “Коммунистическом манифесте” Маркса и Энгельса мы обнаруживаем детальное описание тех групп, которые несли на себе следы романтизма и служили как бы передаточными звеньями от консервативной критики капитализма к социалистической. Мы находим среди них “феодальный социализм”, “поповский социализм”, “мелкобуржуазный социализм” с его идеализацией патриархальной деревни и средневекового цеха, “консервативный или буржуазный социализм” и т.д. Все варианты социализма, бравшие в качестве идеала те или иные институты феодального общества, так или иначе были связаны с консервативной критикой капитализма. В России несколько поколений социалистов прини-

мали за образец крестьянскую общину, но ее считали фундаментом российского общества и консервативные славянофилы, и монархисты, противившиеся реформам Столыпина. Даже в странах, где быстрое индустриальное развитие давно уничтожило общинную и цеховую организацию, мы обнаруживаем социалистические доктрины подобного толка. В качестве примера можно привести утопию У. Морриса и фабианский социализм в Англии. Во многих современных партиях европейских консерваторов — особенно в связанных с католицизмом, контролирующих крупные профсоюзные организации — эти элементы хорошо видны до сих пор. Проповедь крайнего индивидуализма и социал-дарвинизма, разрушение всех общинных связей вызывали негативный отклик у далеких от всякого социализма людей. Достаточно привести романы Достоевского, его “Зимние заметки о летних впечатлениях” или “Дневник писателя”. Со сходными реакциями на прославляемый либералами “прогресс” мы сталкиваемся во всех европейских странах, причем мы находим их не только у возмущенных чудовищным неравенством писателей или священников, но и у таких “людей дела”, как один из лучших менеджеров 19-го в. Ф. Ле Пле, или

крупных политиков, как упоминавшиеся выше Б. Дизраели и А. Токвиль.

Однако, наряду с либеральным и “почвенническим” консерватизмом, к концу 19-го века все сильнее о себе заявляет иной тип консерватизма, который можно назвать “государственническим”, “державным” или “национальным”. В это время происходит формирование национальных государств, монархи со своими дворами переходят с французского на языки своих народов. Обладающая экономическим могуществом буржуазия признает первенство аристократии, за которой остаются высшие посты в администрации, армии, дипломатии. Государство представит во многих консервативных теориях как то целое, в котором находят примирение сословные, классовые и этнические противоречия. Крупнейшим теоретиком такого стоящего над всеми партиями государства был Гегель; как уже было сказано выше, на воззрения консерваторов “державного” толка значительное влияние оказал Гоббс. Консервативные партии становятся в это время одновременно массовыми, вовлекая в себя широкие слои буржуазии, и националистическими. Раньше всего эти процессы заявили о себе во Франции, где после 1848 г. “легитимисты” и “орлеанисты” на правом фланге бы-

ли потеснены бонапартизмом, который не ссылался на легитимность династии, но умел мобилизовать массы националистическими лозунгами. К концу 19-го в. во Франции, Германии, Австро-Венгрии и других странах мы сталкиваемся с феноменами массового общества. Не случайно именно в это время появляются труды основоположников социальной психологии (Ле Бона, Тарда), посвященные поведению толпы. В это время возникают массовые правые движения, идеология которых все дальше отходит от прежних консерватизма и либерализма. Европа вступает в эпоху колониальной экспансии, империалистического передела мира, национализма, а затем и фашизма.

Подробное рассмотрение таких движений, как “Action française” или “консервативная революция” в Германии далеко увело бы нас от темы, равно как и обсуждение вопроса о корнях фашизма. Следует заметить только то, что в генезисе как итальянского фашизма, так и немецкого национал-социализма обнаруживаются и консервативные, и либеральные, и социалистические источники. Сегодня никому не хочется иметь такого “родственника”, но в появлении его на свет участвовали и левые, и правые. Некоторые группы консерваторов принимали участие в форми-

ровании фашистской идеологии и сотрудничали с пришедшими к власти тоталитарными режимами; другие принимали участие в Сопротивлении. После войны группы коллаборационистов были полностью дискредитированы. Сегодня мы можем говорить об известном влиянии фашизма не на крупные правые партии, а на маргинальных “новых правых”, вроде “республиканцев” в Германии или “Национального фронта” Ле Пена во Франции.

Если максимально коротко сформулировать принципиальные отличия от фашизма даже самых “реакционных” консервативных кругов, склоняющихся к установлению авторитарного режима в революционной ситуации, то они заключаются в том, что диктатура признается ими временным средством для наведения порядка, но не целью “в себе и для себя”. В условиях внешней угрозы и особенно бунта эти консерваторы считают уместным ограничение (но не полную отмену) ряда прав и свобод, применение насилия в ответ на насилие. Но основы правового государства сохраняются, а сам государственный аппарат ни в коем случае не становится орудием в руках одной партии. Бывают ситуации, когда выбирать приходится не между свободой и несвободой, а разными вариантами диктатуры. Как это

сформулировал испанский консерватор прошлого века Х. Доносо Кортес, когда единственно возможным остается выбор между “шпагой и кинжалом”, то военная диктатура (“шпага”) предпочтительнее революционного террора (“кинжала”). Ради сохранения основ правопорядка иной раз требуется жертвовать некоторыми свободами, но речь идет именно о временных мерах. Фашизм отличается от такого рода диктатуры не только беззаконием и террором карательных органов, но также тем, что партийный аппарат фактически подминает под себя государство. Самые правые из консерваторов представляют интересы традиционных элит, тогда как фашизм есть массовое движение “снизу вверх”: как “вожди”, так и ведомые ими отряды состоят из выбитых из гражданской жизни фронтовиков, мелких буржуа, безработных, а то и преступного элемента. Хотя лидеры фашистских партий твердят об установлении “железного порядка”, в действительности они подрывают прежнюю социальную иерархию — фашизм представляет собой активистское революционное движение, которое вслед за свидетелем и участником “немецкого движения”, К.Раушнингем, можно назвать “революцией нигилизма”. “Белые” не путают “красных” с “коричневыми”, но одинаково

негативно относятся и к тем, и к другим любителям демагогии и “кинжала”.

Типы консерватизма

На сегодняшний день имеется множество самых различных версий консервативной идеологии и немалое число партий, явно или неявно выступающих с консервативных позиций. Любая типология упрощает действительность, но без нее не обойтись, поскольку иначе мы можем потеряться в многообразии явлений. В каждую политическую партию входят тысячи индивидов со своими помыслами, ценностями и целями. На выборах за них голосуют миллионы людей, зачастую вообще не имеющих представления о программах, но привлекаемых “имиджем” щедрого на обещания политика. “Идеальным типам” в действительности прямо не соответствуют конкретные люди; только небольшие сектантские партии, состоящие из фанатиков той или иной “идеи”, требуют от своих членов не только соблюдения “партийной дисциплины”, но и контролируют их поведение. Консерваторы всегда были противниками подобного контроля, и в консервативных партиях мы находим людей с самыми различными взглядами. Конечно, в них не записываются люди с ком-

мунистическими или анархистскими убеждениями — для этого есть другие организации. В плюралистическом обществе никто не загоняет в партии, а потому нет нужды устраивать “чистки”. На моей памяти было только одно исключение большого числа членов из консервативной партии: в немецкой земле Баден-Вюртемберг из ХДС было изгнано изрядное число членов секты “сайентологов”, которые пытались — используя свои нечистоплотные методы — установить контроль над рядом местных организаций этой партии. Но в целом все консервативные партии являются демократическими по своим уставам и ничуть не напоминают “классовые” или конфессиональные движения. Поэтому, говоря о типах консерватизма, я имею в виду типы консервативного сознания. Они выступают и как формы массового сознания, и как более или менее связные теоретические построения, а между ними располагаются такие промежуточные образования, как статьи публицистов, проповеди, романы и т.п.

Достаточно распространенным по-прежнему остается тот тип консерватизма, который можно обозначить как *традиционализм* в самом широком смысле слова. Этот тип сознания сочетает в себе почтение к социальной иерархии и поряд-

ку, дисциплине, церкви, армии, семейным добродетелям. Левые критики часто называют его патерналистским, авторитарным, патриархальным (или “патриархатным” на языке феминисток). Конечно, изображаемый ими ограниченный лавочник не слишком симпатичен, но карикатуру можно нарисовать на человека любых убеждений. В сознании консерваторов этого типа мы находим такие ценности, как честь и верность; почтение у них вызывает не всякая власть, но власть тех, кто ее достоин, т.е. более компетентных, разумных, морально чистых, чем прочие. В этом сознании четко различены добро и зло, белое и черное — недостатком это является только для тех, кто ссылками на плюрализм обосновывает вседозволенность.

Если обратиться к кругу политических идей, то для этого сознания характерно (зачастую неявно) древнее представление о том, что политическая иерархия является отражением божественной, а социальный порядок занимает свое место в космическом. Государь тут по-прежнему наделяется сакральными чертами — если не он сам, то временно исполняемые им функции. Иногда в этом сознании ощущим даже древний культ императорской власти, сравнимый с русскими представлениями

о “белом царе”. “Король умер, да здравствует король” — этот возглас не утратил своего смысла и в эпоху демократии, а кризисные ситуации, смутные времена должны завершаться сменой верховного правителя (словами Шекспира: “Зима тревоги нашей позади, нам солнце Йорка лето возвратило”). Хотя сравнительно немногие обитатели западных мегаполисов имеют хоть малейшее представление о мистической сущности императорской или королевской власти, тягу к монархии мы находим и в странах с республиканской формой правления. Уже тот факт, что активно использующий архаичную символику жанр “фэнтези” пользуется огромной популярностью, свидетельствует о сохранении структур сознания, которые унаследованы от давнего прошлого — “Властелина колец” Толкиена читают десятки миллионов детей и взрослых, а наряду с различными мифами европейских народов эта книга содержит в себе всю средневековую теорию королевской власти.

Если на уровне массового сознания этот тип чрезвычайно широко представлен, то в политической теории монархическая “идея” уже не играет сколько-нибудь заметной роли. К тому же сами монархисты зачастую далеки от консерватизма — самая крупная монархическая партия во

Франции поддерживала социалиста-Миттерана. Культ вождей в XX в. был также основательно дискредитирован, и сохраняется он сегодня, если брать правый фланг политического спектра, в ультра-правых движениях.

Можно сказать, что либеральный консерватизм преобладает сегодня и в теории, и в практике консервативных партий. Зачастую, он отличается от либерализма только более критичным взглядом на последствия капиталистической модернизации, поскольку к концу XX в. трудно найти либералов, считающих революции “двигателями прогресса” (веком ранее таких либералов было более чем достаточно). Сегодня все правые партии включают в себя либеральное и консервативное крылья, и отличия между ними хорошо видны только для опытного наблюдателя. Сегодняшние либералы стали “левыми”, и консерваторы сочувственно ссылаются на либералов 19-го в. Иногда различия видны не столько по конкретным экономическим решениям, сколько по подходам к темам морали (скажем, консерваторы выступают против абортот) и по обоснованию тех же самых решений. Не входя в детали, я могу сослаться на непрестанную полемику американских либералов с “коммунитаристами”, подвергающими критике либе-

ральные теории гражданского общества, социальной справедливости, общественного договора и т.п. В европейских правых партиях консервативные идеи иногда сочетаются с социалистическими по своему происхождению — особенно в массовых партиях христианско-демократического толка, опирающихся на значительный электорат в рабочей среде и крупные профсоюзные организации. Сочетая элементы и либерализма, и “государственничества” (пропорция в одной стране отличается от другой), этот вариант консервативного сознания преобладает сегодня и в массовом сознании, и в программах политических партий, и в теоретических трудах. Я не стану здесь разбирать его подробнее, поскольку в дальнейшем, когда речь пойдет об основных принципах консерватизма, я буду ориентироваться именно на этот его вариант.

Наконец, нужно сказать несколько слов о *неоконсерватизме*, который получил широкую известность в 80-е гг. Хотя пик популярности этого направления прошел, о нем приходится говорить по двум причинам. Во-первых, на его тезисы ссылаются некоторые российские политики, которые в 80-е гг. еще читали книги и даже писали диссертации, а в 90-е пытались применять на практике идеи неоконсерватизма.

Они по-прежнему используют в пропагандистских целях СМИ благодетельствованных ими “олигархов”. Во-вторых, неоконсерватизм, вышедший из употребления в самих западных странах — не считать же его приверженцами Клинтона или социал-демократов, пришедших к власти в основных странах Европы, — по-прежнему продвигается “на экспорт” в виде рекомендаций для других стран. “Монетаризм”, “либерализация рынков”, “глобализация” являются чуть ли не магическими формулами МВФ и ряда других организаций. О последствиях применения этого набора идей в Мексике, Юго-Восточной Азии, России или Бразилии написано изрядное число статей. Однако неоконсерватизм не сводится к монетаризму, у него были другие источники, в том числе и специфически американские.

Неоконсерватизм не был какой-то единой философской, экономической и политической доктриной. Даже в США, где он появляется в конце 70-х — начале 80-х гг., существовали немалые различия в стане людей, поспособствовавших приходу Рейгана к власти: популисты из “новых правых”, телепроповедники отличались от университетских профессоров, которые были, скорее, разочарованными либералами. К ним относились такие извест-

ные социологи, как Д. Белл, С. М. Липсет, П. Бергер, Н. Глейзер, Р. Нисбет. Практически все они были когда-то “левыми”, печатавшимися в журнале Encounter и получавшими поддержку властей в силу антикоммунистической пропаганды в “Американском комитете за свободу культуры”. Именно в этих кругах широкое распространение получает теория “тоталитаризма”, сводящая к одному знаменателю гитлеровский и сталинский режимы. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что часть американских либералов переходит на консервативные позиции под прямым влиянием внешнеполитических неудач (Вьетнам) и массового движения “новых левых”. Доведенная до своего логического завершения леволиберальная идеология обернулась студенческими бунтами, разрушительной “контркультурой”. Попытки создания американского варианта “общества всеобщего благоденствия” привели к появлению целого слоя живущих на пособия и не желающих трудиться лиц; поддержка всякого рода меньшинств способствовала возникновению системы “квот” и распространению political correctness. Рост конкуренции со стороны японских и европейских фирм требовал структурной перестройки американской

промышленности, перетока инвестиций в новые отрасли из старых.

Сходные проблемы возникли и в Западной Европе, где функционирование “социального рыночного хозяйства” было в целом куда более успешным, чем в США (достаточно вспомнить об американской системе медицинского страхования), но оно требовало и значительно большего налогового перераспределения, закрытия целых отраслей, которые уже не выдерживали конкуренции с ткацкой промышленностью или верфями стран с низкой стоимостью рабочей силы. Сохраняя основы “социального рыночного хозяйства”, европейские правительства должны были дать большую свободу движению капитала, ограничить ту часть “пирога”, которая шла на перераспределение.

Поэтому уже в лозунгах неоконсерваторов по обе стороны океана мы находим преобладание традиционных для либерализма идей. Монетаризм, прославление “невидимой руки” рынка, требования приватизации ранее национализированных предприятий — все это не было чем-то специфически консервативным, поскольку такого рода требования составляют ядро либерализма. В Испании сходную с консервативным правительством М. Тэтчер экономическую политику проводили

социалисты во главе с Ф. Гонсалесом. Если взять собственно экономическую сферу, то эта стратегия привела к — большому или меньшему в зависимости от страны — успеху, и даже некоторые из лидеров нынешних социал-демократов, вроде лейбориста Т. Блэра, продолжают политику своих консервативных предшественников. Повсюду эта политика привела поначалу к росту безработицы и социального напряжения; в ряде стран уровень безработицы по-прежнему остается недопустимо высоким (скажем, во Франции). Было бы наивным упрощением сводить такие преобразования современной капиталистической экономики к консервативной программе — либералы и даже социалисты осуществляли сходные реформы. Все ответственные политические деятели сегодня противятся революции, которая способна разрушить сложнейшую экономико-техническую систему. Находятся ли у власти правые либералы или левые социалисты, они не меняют системы, поскольку любые эксперименты были бы не просто пагубными, но имели бы катастрофические последствия.

Различия нужно искать не столько в способах управления экономикой, сколько в обосновании применяемых мер. Пока речь шла об уменьшении дефицита или

налогового пресса, неоконсерваторы вообще ничем не отличались от либералов. В Германии против государственных дотаций угледобывающей промышленности выступали не представители ХДС-ХСС, а либералы из СвДП; во Франции голлисты куда менее последовательны в политике приватизации, чем их либеральные союзники. Неоконсерваторов отличало от либералов то внимание, которое они уделяли не функционированию экономики как таковому, даже не месту государства в регулировании социально-экономических отношений, но явлениям культуры. Они были встревожены утратой авторитета и легитимности демократическими институтами, "инфляцией" требований со стороны масс, жаждущих поменьше работать и побольше потреблять.

Экономические отношения существуют не сами по себе, но входят в сложнейшую сеть взаимозависимостей. Духовными лидерами неоконсерватизма в США не случайно были видные социологи, которые указали на связь между негативными экономическими явлениями и процессами в сфере культуры и образования. Наиболее характерная для этого варианта консерватизма работа Д.Белла называлась "Культурные противоречия капитализма". Следуя за М.Вебером, показавшим

связь капитализма с протестантской этикой, Белл попытался показать, к чему приходит свободное предпринимательство, порвавшее со всякой религиозной традицией. Секуляризация влечет за собой "профанную" культуру, в которой основные мотивы человеческой деятельности сводятся к получению максимального удовольствия. Анализируя современные искусство и литературу, Белл приходит к выводу, что они способствуют разрушению морали, тогда как в области собственно художественной авангардистская эстетика пришла к утрате творческого характера. Ранее ее вдохновлял бунт против прежних норм, но на сегодняшний день, когда исчезли все обязательные нормы, анархическое бунтарство стало худшим вариантом конформизма. Тем не менее, именно эти разрушительные тенденции вновь и вновь воспроизводятся масс медиа, оказавшихся в руках "нового класса". Об этом классе писали и другие неоконсерваторы. Так, П.Бергер даже провозгласил главным конфликтом постиндустриального общества борьбу между старым классом собственников и новым классом, занятым в первую очередь обработкой и распространением информации (поэтому он назвал его "knowledge class"). В постиндустриальном обществе колоссально возросло число

людей, занятых в “третичном” и “четвертичном” секторах, оказывающих самые разнообразные услуги, помогающих заполнять свободное время фильмами, второсортной беллетристикой, компьютерными играми, психотерапевтическими “техниками” и т.п. В этот класс входит и огромное число лиц в системе образования и медицинского обслуживания, занятых “связями с общественностью” менеджеров, переучивающих персонал фирм специалистов по “человеческим отношениям”, работников рекламного бизнеса и т.д. В большинстве своем они отличаются от прежних частных собственников, живут на высокую зарплату и вкладывают деньги в акции; основные сферы такой деятельности в значительно большей степени связаны с государственным регулированием, с перераспределением, а потому эти группы смыкаются с государственной бюрократией. Еще важнее для неоконсерваторов то обстоятельство, что этот “новый класс” всеми силами распространяет гедонистический образ жизни, потребительство, негативное отношение к религии, армии, полиции. Капитализм создавался усердно работавшими и копившими деньги протестантами, тогда как теперь он оправдывается массовым потреблением и воспитывает людей, работающих

только для того, чтобы получать максимум чувственных удовольствий. “Новые левые” со своими лозунгами “сексуальной революции” и “контркультуры” (весьма способствовавшей росту потребления наркотиков), оказываются законными потомками либералов, провозгласивших главной целью общества рост производства ради роста потребления.

Такого рода критика не так уж нова. Один из крупнейших экономистов 30-40-х гг., Й. Шумпетер, полвека тому назад писал о том, что капитализм мог нормально функционировать, пока средний работник был дисциплинированным исполнителем, воспитанным средствами предшествующих капитализму формаций⁸. Когда церковь и армия утрачивают авторитет, а школа перестает воспитывать (или же воспитывает в духе “контркультуры”), то этот работник утрачивает иные мотивы для деятельности, кроме потребления. В условиях демократии он начинает требовать от государства все меньшего рабочего времени и все большего потребления, а политики, если они хотят оставаться у руля, должны потакать этим требованиям. В прошлом консерваторы часто ссылались на Древний Рим периода республики как на образец государственного устройства; сегодня они указывают на по-

здний Рим с его раздачами хлеба и цирками для разучившегося работать и обнаглевшего плебса. Стоит вспомнить о том, что уже во времена императора Клавдия в конце I в. н.э. праздничных дней в году было где-то 75, а к IV в. их стало чуть ли не 175. Сегодня цирки сменились развлекательными программами телевидения, а бои гладиаторов иными зрелищами, зачастую не менее жестокими (вроде бомбардировок незащищенных городов), но процесс превращения массовой демократии в стадо тупых потребителей вызвал болезненную реакцию не только традиционно консервативных кругов (вроде католиков или баптистов с Юга США), но и части либералов. Наиболее яркий американский консерватор Л.Штраус писал в то время, что демократические институты в США оказались в зависимости от волеизъявления людей, не читающих ничего, кроме комиксов, и даже по телевидению смотрящих только матчи по бейсболу или “мыльные оперы”.

Машина капиталистического производства приняла на вооружение и коммерциализировала те стили жизни, которые ведут к ее собственному разрушению. Выводы, которые сделали из этого правомерного тезиса неоконсерваторы, не отличались оригинальностью и в основном служили простым идеологическим обеспече-

нием “рейганомии”. Государственная бюрократия должна была лишиться части полномочий, уменьшение налогов на прибыль — дать средства для инвестиций и одновременно ограничить потребление масс, подтолкнув их к конкуренции за рабочие места. Но эти методы имели краткосрочные цели и, по существу, не решали поставленных самими неоконсерваторами проблем. Вслед за необходимым оттоком средств из старых отраслей промышленности в новые обнаружилось, что этот процесс создал еще больше рабочих мест именно в тех секторах, которые связаны с получением и передачей информации, т.е. усилил именно “новый класс”. Успехи в экономике на протяжении всего правления Клинтона связаны именно с развитием этих отраслей, а вся борьба с ним республиканцев — вплоть до попытки импичмента — только дискредитировала консервативные идеалы. Люди типа Н.Гингрича или ультраправых миллиардеров в США, которые финансировали кампанию по разоблачению Клинтона, ничуть не более моральны, чем этот “самый сексуальный” президент. К тому же вполне уместная консервативная критика была настолько явно связана с корыстью определенных групп, была настолько узколобой, что без сомнения проигрывала реальным

успехам в экономике. Кстати, именно демократу-Клинтону удалось провести резкое ограничение “вэлфера” — малопродуктивной системы поддержки бедных, которая привела к появлению уже третьего поколения никогда не работавших безработных (в основном из числа негров).

Теоретики неоконсерватизма не без оснований указывали на то, что они, по существу, придерживаются воззрений, характерных для либералов 19-го в. Как замечал Ф.Хайек, “американские социалисты сознательно совершили подлог, когда присвоили себе звание “либералов”... Уже лет 25 назад я сетовал, что для либерала гладстонского толка стало почти невозможным называть себя либералом, не вызывая при этом впечатления, будто он приверженец социализма”⁹. С точки зрения Хайека и многих других неоконсерваторов, перераспределение с помощью налогов является непрямым свойством социализма, тогда как “социальное рыночное хозяйство” или “социальное государство” современных либералов было бы честнее и правильнее называть “благожелательной деспотией”. Индивидуальный вклад в совокупный продукт, а тем самым уровень жизни и социальный статус, устанавливается, с этой точки зрения, только рынком. Полная свобода рыночных сил и

механизм конкуренции как таковой все расставят на свои места, а вмешательство государства сводится к полицейскому надзору — чем меньше вмешательство государства, тем оно лучше. В отличие от либерализма прошлого века, это относилось теперь уже не только к внутренней политике, но к организации мирового рынка: страны ведут конкуренцию друг с другом за инвестиции, и чем ниже уровень зарплаты в той или иной стране, тем больше у нее шансов на перемещение капитала транснациональных корпораций. Лозунги “глобализации” оказались удобными для отстаивания интересов ТНК. Замалчивалось то, что уменьшение реальной зарплаты и покупательной способности в стране, принимающей эти правила игры, ведет к уменьшению зарплат и в секторах национальной промышленности, к спаду потребления, а тем самым и к кризису ряда местных отраслей промышленности; за все это нужно платить и ужесточением режима — только в условиях авторитарной власти можно примерно десятилетие ожидать, пока такие меры дадут какие-то плоды.

У неоконсерватизма имеется еще одна составляющая, отличающая его и от прежнего консерватизма, и от либерализма конца 19-го в. И либералы, и консерва-

торы не были пропагандистами и певцами равенства во что бы то ни стало, но либералы считали, что успешно работающий механизм рынка создает богатство, которое можно частично перераспределить; консерваторы ставили на первое место неравенство заслуг и способностей, имея в виду совсем не только способность зарабатывать деньги. Неоконсерватизм в своем крайнем виде предстает как род социалдарвинизма, где “лучшими” людьми являются самые успешные игроки на рынке. Тем самым переворачивается любая традиционная система ценностей. Финансовый спекулянт может гордиться своим вкладом в экономическую жизнь и претендовать не только на гигантские доходы, но и на статус “лучшего” члена общества. Ведь одна удачная операция на бирже приносит больший доход, чем деятельность не только крупного ученого или инженера, но и любого менеджера фирмы, занятой реальным производством. Если довести идеи Хайека до логического конца, то торговец наркотиками или производитель порнофильмов, удовлетворяющие имеющуюся в наличии потребность множества индивидов, а потому обладающие огромными доходами, оказываются чуть ли не вершиной эволюции человеческого рода. Если “невидимая рука” рынка опре-

деляет все взаимоотношения между людьми, то сатирический подзаголовок “Басни о пчелах” Б.Мандевилля (“пороки частных лиц — блага для общества”) становится главным принципом общественной жизни. Исходным пунктом такой утопии является тезис: “Все находящиеся в естественном состоянии живые существа заботятся лишь о том, чтобы доставить себе удовольствие, и непосредственно следуют влечению своих наклонностей, не обращая внимания на то, принесет ли полученное ими удовольствие добро или зло другим”¹⁰. Строго говоря, Хайек не имел права ссылаться даже на А.Смита, поскольку создатель теории “невидимой руки” считал, что первичными мотивами человеческой деятельности являются не экономические, но стремление к отличию от других, престижу, социальному рангу и славе.

Общество, поощряющее исключительно эгоистические мотивы обогащения за счет других, — это даже не “гладстоновский либерализм”, на который указывает Хайек, даже не “манчестерский капитализм”, но царство мошенников, находящих себе оправдание с помощью научных трактатов “монетаристов” и речей о “либеральных ценностях”. Построенное на таких принципах общество недолговечно. Хайек зря ссылается и на исследования

систем с обратной связью. Как однажды заметил создатель кибернетики Н. Винер, игра, в которую играют стремящиеся к безусловному выигрышу и совершенно беззастенчивые дельцы, ведет к крайней неопределенности результатов и к нестабильности системы. “Побуждаемые своей собственной алчностью, отдельные игроки образуют коалиции; но эти коалиции обычно не устанавливаются каким-нибудь одним определенным образом и обычно кончаются столпотворением измен, ренегатства и обманов... В конце концов даже самого блестящего и беспринципного маклера ждет разорение”¹¹. Мошенникам нужны “дураки”, и власть первых над вторыми длится ровно то время, пока им удастся дурачить население с помощью СМИ, в которых, как заметил тот же Винер, имеется “точно установленная смесь религии, порнографии и псевдонауки”. Существует некая незримая связь (едва ли не “предустановленная гармония”) между создателями финансовых “пирамид”, телекомментаторами, изображающими из себя “интеллектуалов”, эстетствующей богемой и всякого рода “окультистами”.

Чуть ли не единственное достоинство идеологизированного монетаризма заключается в законной критике “реального

социализма” тех лет и машины перераспределения, созданной правительствами либералов (демократов в США) и социалистов. Но предложенные и реализованные “тэтчеризмом” и “рейганомикой” рецепты оказались позитивными лишь в сравнительно узкой сфере даже самой экономики. Рост конкурентоспособности ряда работающих на экспорт фирм сопровождался упадком в других отраслях. Пострадали не только национальные системы образования и здравоохранения той же Англии, но и веками создававшаяся социальная стабильность, та меритократия, которая лежит в основе конституционной формы правления.

Иными словами, неоконсерватизм содержит в себе как общую для всех консерваторов критику ряда явлений культуры, так и характерный лишь для небольшой их части монетаризм и социал-дарвинизм. На уровне массового сознания идеи неоконсерватизма характерны прежде всего для “новых правых”. Защищающий французскую культуру от американизации голлист с большими основаниями может называться консерватором, чем пропагандист “нового мирового порядка”, хотя они могут состоять в одной и той же партии или быть членами одного правительства. Можно сказать, что неоконсер-

ватизм первоначально был формой не всякого, но именно американского консервативного сознания. В США он возник не случайно, здесь у него имелись глубокие корни. Сегодня он распространен в других странах, хотя служит именно американским интересам, как, впрочем, и весь проект “глобализации”. Он далек не только от российских традиций, но и от наших собственных национальных интересов.

Подводя итог этому краткому очерку истории консерватизма, следует сказать, что в условиях массовой демократии и революций консерватизм означал сохранение “закона и порядка”, господства традиционных элит. Монархисты и бонапартисты в прошлом веке, разного рода авторитарные режимы XX столетия также принадлежат к консервативной “семье”, но не являются типичными ее порождениями. Либеральный англосаксонский вариант консерватизма и континентальный этатистский его вариант, разумеется, имели множество индивидуальных форм, которые трудно свести к одному знаменателю. Режимы Салазара и Франко мало чем напоминают английских тори или американских “либертарианцев”, отвергающих почти всякое государственное вмешательство. Но при всех национальных особенно-

стях во второй половине 20-го столетия происходит постепенное формирование сегодняшних массовых консервативных партий. Хотя далеко не все современные правые партии носят это имя, христианские демократы в Германии (особенно ХСС в Баварии), республиканцы в США, голлисты во Франции, несомненно, относятся именно к консерваторам. Будучи массовыми и выражая интересы не только крупного бизнеса, но также десятков миллионов мелких собственников, значительной части рабочих (в том числе и ряда профсоюзных организаций), эти партии сочетают в себе защиту рыночной экономики, политических свобод и государственного планирования, поддержания “социального рыночного хозяйства”.

Можно сказать, что на сегодняшний день различия между консерваторами, либералами и социал-демократами в практической политике не так уж велики. Правящие или оппозиционные консервативные партии сегодня в вопросах внутренней политики и управления экономикой не так уж сильно отличаются от либеральных и социал-демократических. Существует значительная степень согласия относительно способов работы сложнейшей машины производства и распределения в постиндустриальном обществе. Различия

связаны с нюансами, со специфическими интересами разных социальных и демографических групп, которые не сводятся к экономическим. Человек вообще не есть homo oeconomicus, и политическая борьба всегда имеет своим источником различия в ценностях и идеалах, в представлениях об общественном благе, о том обществе, в котором мы хотели бы жить сами и передать нашим детям и внукам. Иначе говоря, от либералов и социалистов сегодняшних консерваторов по-прежнему отличается мировоззрение.

Принципы консерватизма

Человек и культура

У всякой идеологии есть своя “догматика”, но в силу меньшей теоретичности консерватизма она с большим трудом поддается систематизации. Тем не менее можно говорить об определенных мировоззренческих особенностях консервативного мышления. К таковым можно отнести: веру в трансцендентный моральный порядок, опирающийся на божественный или естественный закон; предпочтение медленных перемен, непрерывности, эволюции — ударение делается на постепенности изменений, отсутствии разрывов; осторожность в реформах и нововведениях, поскольку общество признается хрупким образованием, которое может быть разрушено неумелыми руками — из этого следует негативное отношение к попыткам пересоздать общество заново по какому-нибудь “рациональному” проекту; уважение и почтение к многообразию индивидов, обществ, культур; недоверие к

единообразие, планированию, равенству. Разум человека слаб, желание осчастливить все человечество путем какой бы то ни было революции представляет собой продукт гордыни. На Земле никогда не будет совершенного общества или “царства человека”, а потому все утопии опасны и даже порочны. Поэтому естественный рост противопоставляется планированию, многообразие — единообразию, конкретное — абстракциям, традиция — безоглядному прогрессизму, мудрость и ответственность — идеологическому прожектерству, вечность — духу времени (тем более моде).

За собственно политическими доктринами всегда стоит некий круг взаимосвязанных идей о человеке и его месте в природе и обществе. В научной литературе часто встречаются такие наименования, как “политическая теология” или “политическая антропология”. Конечно, на христианскую религию ссылались и ссылаются люди самых различных политических партий, и даже среди епископов католической церкви мы находим сегодня и крайне левых, вроде представителей латиноамериканской “теологии освобождения”, и крайне правых из ордена *Opus Dei*. Тем не менее религия откровения задает основные координаты политической мысли,

указывая на место человеческого общества в провидении. Точно так же, антропология не может быть “либеральной” или “консервативной”, поскольку человечество существует много дольше, чем все идеологии, и, говоря о природе человека, нам нужно сравнивать его с животными, не обладающими никакой “политикой”. Тем не менее, каждая политическая доктрина содержит в себе совокупность представлений о “естественном” для человека порядке, который отвечает его “природе”.

Многим консерваторам присущ пессимистический взгляд на природу человека. Он скорее зол, чем добр, по своей натуре. Этот круг идей ярче всего представлен в трудах христианских авторов, поскольку несовершенство человека связывается с его грехопадением. Правда, далеко не все христианские конфессии заходят так далеко в уничижении человека, как кальвинисты; созданный “по образу и подобию” Бога, человек является и вершиной творения. Можно сказать, что консерваторы склонны к реалистичной оценке человеческой природы — в ней мы находим источник и добра, и зла. Человек хаотичен, агрессивен, асоциален. Он должен укрощать свои влечения, поскольку без самоконтроля и дисциплины, без аскезы и следования правилам нет порядка не только

в обществе, но и в душе. Человеку постоянно угрожает опасность возвращения в звериное царство, и там, где порядок ослабевает, врываются губительные силы хаоса. Прекрасный космос тогда разрушается, человек дичает. Человек должен ориентироваться на трансцендентный порядок, превосходящий человеческое разумение, но передаваемый как идеал посредством традиции. В этой проповеди порядка и гармонии нет принципиальных различий между пифагорейцами и конфуцианцами, индуизмом и христианством. Разум человеческий слаб, он не является чем-то врожденным и автономным, но формируется в рамках традиции, связан с воспитанием, с верованиями и ритуалами, с обычаями и с языком. Вмешательство разума, попытки планировать будущее обречены на неудачу, поскольку индивид не в силах спорить с судьбой или провидением.

Высшей ценностью для консерватора является неповторимая человеческая жизнь, и если слово “охранитель” применимо к консерватору, то он желает охранять именно жизнь разумного существа, которое так легко убить, искалечить физически или нравственно, растлить, ослепить фанатической верой, превратить в “винтик” бесчеловечной машины. Однако

консерватизм далек от “человекобожия” многих либералов и социалистов, готовых объявить “мерой всех вещей” какого-нибудь проходимца, кричащего: “Человек, это звучит — гордо” и готового бежать “вперед прогресса”. Если для разного рода “прогрессистов” идеалом оказывается обожествленный индивид, оторванный от всех традиций и даже мирового порядка, то консерваторы видят в таком индивиде бездомное существо. Лишившись корней, он становится пустой абстракцией, бледной тенью; не “освобождением от предрассудков”, а бедой современного мира является то, что в гигантских мегаполисах растет число людей-призраков.

Уничтожить человека легко, стать им трудно. Поэтому консервативная философская антропология уделяет огромное внимание темам воспитания и культуры. Я изложу основные идеи консервативного учения о человеке, опираясь прежде всего на труды одного из ведущих консервативных мыслителей XX в., немецкого философа А. Гелена. В отличие от плоского “прогрессизма”, видящего отличительными признаками человека прямохождение, размеры головного мозга и т.п., Гелен полагает, что человек не есть “вершина” биологической эволюции: по собственно биологическим критериям человек плохо при-

способлен к “борьбе за существование”. У него нет острых клыков и когтей, великолепной врожденной приспособленности животных к окружающей среде. Именно биологическая “недостаточность” человека предполагает общество и культуру. У него нет той “среды”, к которой адаптирован тот или иной вид животных, но именно поэтому он способен сделать пригодным для обитания почти любое окружение. “Второй природой” человека оказывается система орудийной деятельности и коммуникации, а это и есть мир культуры, собственно человеческий мир. Без нее у человека нет ни малейших шансов выжить, а потому не существует “естественного человека” — он изначально является социальным существом, и всякое общество предполагает длительное воспитание потомства, язык, технику, формы общения, кооперации и т.д. Все эти формы передаются из поколения в поколение, они образуют стабильные системы обычаев, социальные институты.

Когда такая система рушится, когда исчезают постоянные правила общения, то под вопросом оказывается статус каждого, ощущающего постоянную опасность со стороны других. Поведение становится менее контролируемым, но это означает не большую свободу (как это представля-

ется сторонникам “эмансипации”), а рост инстинктивности поведения. В неизменности институтов мы нуждаемся не только в силу того, что без них не было бы внешней безопасности. Наш внутренний мир требует стабилизации. Наши влечения уже не связаны с врожденной программой, а потому наделены избыточным возбуждением. Животное устроено так, что агрессия против представителей своего вида ограничивается малым числом ситуаций (брачное соперничество, территория, ранг в стае), и она редко ведет к истреблению противника. У человека нет врожденных “сдержек и противовесов”, он не знает предела в проявлении своих стремлений, в том числе и агрессивности. В обществе, где рушатся институты, сразу же заявляет о себе “атомарная агрессивность”, приобретающая характер “борьбы всех против всех”. Ее нет в животном мире, и мы приписываем животным те черты, которые характеризуют человека определенной эпохи. Говоря “человек человеку — волк”, мы клеветаем на волков.

Институты дают стабильность нашей психике, и даже душевное здоровье зависит от прочности институтов — они защищают нас от себя самих. Не “искусственная” культура подавляет человека и “отчуждает” его от собственной “природы”.

Культура “естественна” для человека, а ее кризис ведет к примитивизации поведения и к варварству, которые являются прямыми следствиями отказа от традиции, распада системы норм и правил. Нравственность входит в природу человека. Уже для того, чтобы подняться над уровнем каннибализма и упорядочить половую жизнь для воспроизводства, человечеству понадобилась религия тотемизма с ее запретами. Человек дорого платит за распад институтов нравственности, семьи, религии, частной собственности.

Культура способна существовать века и тысячелетия благодаря тому, что содержание вливается в прочные формы. Совершенные произведения искусства требуют строгой формы, религиозная вера нуждается в привычных действиях, в ритуалах. Это не нравится современному субъективизму, жаждущему непосредственных переживаний, ненавидящему формы и в искусстве, и в религии, и в общественной жизни. Такой субъективизм разрушителен, поскольку на формализованных привычках покоятся и высокая дисциплина труда рабочего, и профессиональные умения юристов, профессоров, чиновников, их корпоративная ответственность. Они следуют привычным правилам, и если они перестанут это делать,

то общество развалится. Важны даже внешние формы: статус некоторых групп зависит от их традиционного одеяния (у врачей, военных, судей).

Институты представляют собой “грамматику и синтаксис” общественной жизни, они придают стабильность как индивидуальной, так и социальной жизни. Доиндустриальные общества обладали стабильностью, поскольку в них традиция пронизывала все области жизни. В них имелось и нечто не подлежащее сомнению, а это создавало основу для взаимного согласия. В индустриальном обществе обособившаяся система инструментального действия начинает разрушать традицию. Современная культура уже на интеллектуальном уровне бомбардирует человека множеством бессвязных данных, которые он не успевает перерабатывать, а тем самым затруднительным оказывается принятие осмысленного решения. Освобождение от бремени тяжелого физического труда (“в поте лица своего”) ведет к тому, что человеку некуда девать высвобожденную энергию, а потребительское общество не знает высших целей и “освобождается” от запретов и норм. Результатом является ужасающая “естественность” утратившего человеческий облик варвара. Человеку современного мира требуется са-

моограничение, своего рода аскезы, поскольку он принужден к воспитанию, муштре, дисциплине и самоконтролю уже условиями своего существования. Он воспитывается другими, он принадлежит культуре с ее запретами, он формирует сам себя. А это означает, что ему нужно сдерживать одни влечения ради других, контролировать свое поведение, что невозможно без стабильных институтов. Сегодня они находятся в кризисе, а потому, как пишет Гелен, “право делается растяжимым, искусство нервным, религия сентиментальной”¹², а “фигляры, дилетанты и безответственные интеллектуалы” с безоглядным безумием разрушают остатки этого фундамента.

Консервативная критика культуры связана именно с разрушительными тенденциями современного массового общества. Машинная техника, рост уровня жизни и потребления имеют своим коррелятом определенный тип человека, стремящегося к комфорту и наслаждению. Интеллектуализация культуры, обилие идей и мнений вовсе не говорят о росте творчества. За самым совершенным компьютером часто сидит умственно и нравственно недоразвитый человек. Целые отрасли индустрии создаются для заполнения вакуума в человеческих душах жалкими подел-

ками — поточное производство бессмысленных романов, музыки или фильмов трудно считать свидетельством духовного роста. Человек делается потребителем, который все меньше стремится к каким-то высоким целям, избегает борьбы, ответственности, риска. Личному делу предпочитают бесконечные словопрения в “коллективе” (team-work), да еще идеализируют эту безответственность, говоря о “демократии на производстве”. Повседневная борьба за хлеб насущный, преодоление сопротивления природы придавали достоинство человеку прошлого. Сегодня от жителя большого города требуется все меньше физических усилий, он стремится к минимуму работы и максимуму удовольствий. Высокий уровень роскоши в истории всегда совпадал с ростом испорченности, с декадансом. Конечно, в современном мире есть сколько угодно бессмысленных страданий от нужды, включая и самые развитые страны. “Роскошь” вообще есть понятие относительное — она по-разному определялась в разных культурах. Тем не менее, для тех слоев населения, у которых работа и борьба за существование падают в своем значении, возникает угроза деградации. Известны некоторые архаичные общества, которые оказывались в чрезвычайно благоприятных при-

родных условиях и у которых обнаруживалась примитивизация ранее более сложной культуры (обитатели “райских” островов). Эта деградация значительно лучше видна по высшим социальным слоям некоторых эпох и культур. Однако только современная техника сделала массовое потребление доступным для широких слоев. Правящие элиты Запада считают чуть ли не единственной своей целью рост производства и потребления. Перспективой такого развития является весь мир, сделавшийся удобной кроватью для разленившегося человечества. Еще раз сошлюсь на Гелена, который писал об угрозе превращения человечества в “колонию паразитов”.

Теории, которые изображают человека как корыстного хищника или подчиненное инстинктам существо, отображают не вечную природу человека, но нынешнюю ситуацию распада традиционных институтов семьи, религии, собственности, нравственности. Французский писатель Жюль Ромен однажды заметил: “Быть правым — значит испытывать страх за то, что существует”. Ее часто повторяют “левые”, считающие признаком смелости безоглядную веру в “прогресс”. У консерватора речь идет не о страхе утраты каких-то привилегий, а об угрозе крушения институтов, распада культуры, а тем самым

и деградации человека. Обычно консерваторы ссылаются на неизменность человеческой природы, а реформаторы и революционеры говорят о ее зависимости от социокультурных условий. Для современных консерваторов как раз “незавершенность” человеческой природы представляет угрозу, ибо он способен утратить человеческий облик, ввергнуть себя в варварство или даже завершить свою историю самоуничтожением. Упорядоченному “космосу” всегда угрожает хаос, высокая культура менее вероятна, чем варварство или тенденция превращения потребительского общества в “колонию паразитов”. Техническая цивилизация является не только великим благом, но и огромным риском, она требует новых институтов, но возникнуть они могут только на фундаменте уже имеющихся, тогда как разрушение этого фундамента может привести человечество к катастрофе.

Традиция

Подобно тому, как социалисты находят то в первобытном племени, то в общине первоначальный вариант “коммуны”, а либералы склонны считать частную собственность и “права человека” определениями человеческой природы (“естествен-

ное право”), так и консерваторы часто указывают на то, что консерватизм представляет собой не политическую, а антропологическую категорию — он столь же стар, как человеческая природа, поскольку вся она определяется традицией, передачей навыков и умений, знаний и верований. Чтобы сохранять саму человеческую жизнь на Земле, необходимо сохранять лучшее из обретенного предками. Психологически человек опасается новшеств, всего неведомого, а потому он охотнее следует обычаям, живет по привычным образцам, предпочитает верования сомнениям и рефлексии. И индивиду, и обществу требуется стабильность. Человек со здравым рассудком консервативен, он хочет жить и умирать так, как жили и умирали его отцы и деды. Консерватизм в таком случае является выражением фундаментальной ориентации, заложенной в человеческой природе.

Такого рода аргументация явно недостаточна: традиционализм, как определенная психологическая установка, не обязательно консервативен. Традиционализм, действительно, существовал во все времена, будучи склонностью немалою числа людей следовать привычкам и противопоставлять “старое доброе время” сегодняшнему дню. Одни люди предпочита-

ют следовать образцам, тогда как другие ищут нового и даже склонны к авантюрам. Эти психологические характеристики нельзя прямо переносить в сферу идеологии, равно как и отстаивание любой традиции — свои политические традиции есть и у коммунистов, и у фашистов. В отличие от традиции как таковой традиционализм выступает уже не как психологическая склонность, но как плод рефлексии, раздумий о прошлом и настоящем. К помощи идей человек прибегает именно в целях восстановления безопасности и уверенности, гармоничного равновесия с миром. В верованиях человек живет “по истине”, в сомнении у него появляется идея истины как чего-то требующего усилий для достижения. Найденная такими усилиями мышления идея-истина со временем становится верованием. Философия и наука возникли именно потому, что была разрушена традиция, рухнули прежние коллективные верования; как писал испанский мыслитель Х.Ортега-и-Гассет, философия начинается с “кораблекрушения” и попыток выплыть из “моря сомнений”.

Как разновидность политической философии и идеологии, консерватизм не сводится ни к психологическим склонностям индивида (тогда большинство пожи-

лых людей оказываются консерваторами в сравнении с молодежью), ни к отстаиванию традиции, которой угрожают перемены. Консерватору сложнее, чем либералу или социалисту, дать некую общую формулу, из которой затем выводятся политические и экономические следствия. Консервативную идеологию от либеральной и социалистической отличает то, что она значительно менее рационалистична или, если угодно, догматична, поскольку ссылается чаще не на систему взаимоувязанных идей и теорий, но на традицию. Идеология представляет собой связный комплекс моральных, экономических, социальных и культурных ценностей, многие из которых не имеют прямого отношения к политике в строгом смысле слова, образуя традицию данного народа. Но сами национальные традиции различны в силу исторических обстоятельств, а потому различными оказывались практические выводы — в одних странах консервативная идеология ближе к либерализму, в других она является в большей мере монархической или этатистской.

Консерватизм часто путают с традиционализмом отчасти и потому, что иногда этим грешат и сами консерваторы, ссылающиеся на ту или иную местную традицию, словно она представляет собой нечто

универсальное. В действительности, традиций много и общечеловеческим является только то, что без традиции — без передачи языка, обычаев, навыков, умений и знаний — человек просто не был бы человеком. От царства животных его отличает именно культура, приобщение к которой начинается с раннего детства. Каждый индивид принадлежит семье, роду, церковной общине, растет в той или иной провинции, получает все свои гражданские права в рамках нации. Он не выдумывает языка, на котором говорит; неповторимая индивидуальность человека возможна только в сообществе, и даже гений великого творца всегда национален.

Свои традиции имеются у каждой семьи, общины, провинции. Национальная традиция возникла не так уж давно в итоге слияния множества местных; часть из них растворилась в этом целом, часть сохранилась донныне. Коренные москвичи могут гордиться тем, что Москва некогда собрала вокруг себя русские земли, а князь Дмитрий Донской вел полки на Куликово поле; это не мешает тому, что новгородцы помнят о свободах и вечевом колоколе, а донские и кубанские казаки хранят свои воинские предания. Чем богаче и многообразнее культура, чем шире память о прошлом, тем богаче внутренний

мир человека. Российская культура с давних времен включала в себя самые различные национальные традиции: чуваш и мордвин, якут и калмык принадлежат евразийскому культурному ареалу, организовавшемуся вокруг русского этноса. Разумеется, далеко не все традиции совместимы друг с другом: если ислам вполне может быть религией немалого числа россиян, то введение шариата в качестве правовой системы расходится с исторически возникшим целым. Консервативная позиция означает полное уважение к чужим верованиям и обычаям, но не “всеядность”. В конце концов, свои традиции есть и у тех нигилистов, которые прилагают все усилия для уничтожения русской культуры; некие традиции имеются даже у “воров в законе”.

Мы принадлежим не только к местной или национальной традиции, но также цивилизации. Одни общности даны нам непосредственно — семья, род, деревня, этнос, языковое сообщество. Другие возвышаются над ними и уже связаны с абстрактными идеями. Нации рождались под воздействием идеологии, той или иной национальной идеи. Цивилизация принадлежит к единствам максимальной общности, поскольку выше нее стоит лишь единство человеческого рода. История челове-

чества знает сравнительно небольшое число цивилизаций, а потому принадлежность к одной из них значит для нас ничуть не меньше, чем национальная и социальная принадлежность. От этого зависит то, кем мы себя считаем, какие ценности считаем высшими, каким богам поклоняемся. Наш народ входит в единство с целым рядом других, разделяющих наиболее общие идеалы и ценности. Мы можем враждовать с ними и даже вести войну, но мы знаем, что они нам много ближе, чем принадлежащие к иной цивилизации. При всем почтении к великим цивилизациям прошлого и настоящего — китайской, индийской, арабской — мы находимся на большей дистанции от них, чем от принявших христианство народов. У нас нет “весов”, на которых мы могли бы взвешивать и сопоставлять осмысленность и красоту собственных ценностей с верованиями и идеалами иных цивилизаций. В эпоху глобализации все мы должны совместно решать многие проблемы. Но мы мыслим мир в категориях нашей собственной цивилизации, и без такой точки отсчета, без общей культурной идентичности нам не определить и свою национальную принадлежность.

Для русских либералов и социалистов этот вопрос решается просто: и те, и дру-

гие являются последовательными “западниками”, признающими некие общие законы движения истории. Для консерваторов ситуация является более сложной, поскольку они учитывают своеобразие православной традиции в сравнении с католицизмом и протестантизмом, отчасти соглашаются с евразийцами и уж совсем не склонны думать, будто есть некая “мировая цивилизация”, к которой просто следует примкнуть, и тем самым решатся все проблемы. Но в целом консервативная позиция все же является умеренно “западной”, вернее сказать, “европейской”. Но Европа не сводится к западной ее части, наследнице не столько Афин, сколько Рима. Не отрицая своих отличий от Западной Европы, русские консерваторы все же полагают, что изначально мы входим именно в мир христианских народов, перенявших и многие традиции античности. В первые века российской истории духовным центром для нас была Византия — “Греция была для нас как бы вторым отечеством” (Карамзин). Уже три века русская культура включает в себя западноевропейскую науку, технику, организацию государственного управления и т.п.; русская литература, музыка, живопись, архитектура принадлежат европейской культуре¹³. Самобытность не означает некоего

“особого пути”, который не имеет ничего общего с техникой, экономикой и политической организацией других стран. Перед Россией не стоит задача “европеизации”, поскольку она изначально принадлежит Европе. Нам нет нужды в том, чтобы кто-то нас “европеизировал” или “цивилизировал”, — чаще всего такие “прогрессоры” приходят не из альтруистических побуждений.

Таким образом, от либеральных “мондиалистов” русских консерваторов отличается реализм, учет национальных интересов, признание самобытности России. В отличие от крайних националистов консерваторы не считают Россию “родиной слонов” и признают наднациональные ценности, существование общих для всего мира экономических, экологических, демографических и т.п. проблем. Сохранение культурной самобытности не противоречит перенятым у Запада рыночной экономике и парламентской демократии. России угрожает не столько “мондиализм”, сколько союз криминального бизнеса, коррумпированной бюрократии и бездарной политической элиты. Нам не грозит и “конфликт цивилизаций”: пока все цивилизованные народы следуют прокламируемым ими религиозным идеалам и моральным ценностям, столкновение не

является неизбежным. Конфликт возникает из-за притязаний на единоличное право решать, кого считать “цивилизованным”, а кого записывать в “варвары”, когда одна нация агрессивно навязывает свое экономическое и военное господство всем остальным. Цивилизацию или демократию не навязывают оружием — все войны во имя спасения цивилизации или демократии завершались умалением того, что следовало спасать.

Таким образом, позиция консерваторов по отношению к национальной традиции является не менее критичной, чем у либералов и социалистов, но она более конструктивна. Консерватизм опирается на здравый смысл не утратившего собственного достоинства народа. Консерватор вообще не представляет собой охранителя любого прошлого. Живи человек только переданным ему от предков, мы и сегодня обитали бы в пещерах. Консерватор, по самому значению этого слова, желает сохранять связь настоящего с прошлым, он помнит о деяниях предков. Но не все они были образцом для подражания, и далеко не всем следует гордиться. Имеются и просто вредные для сегодняшней жизни и движения вперед традиции. Отличие от либералов и всякого рода “радикалов” заключается именно в историческом мыш-

лении, в знании своих корней, в верности тому лучшему, что было совершено предками.

Консервативное видение истории

Консерватор не является врагом нового, исторического движения вперед и вверх. Любая традиция содержит в себе такие возможности развития, “точки роста”. Но творчество нового не должно превращаться в кровавый разрыв с прошлым и в истребление прежних святынь ради строительства новых храмов. При всех сходствах в критике манчестерского капитализма любого социалиста отличает от консерватора видение исторического процесса. Предзаданная человеческая сущность (если таковая вообще признается) реализуется для социалиста в конце истории и в борьбе за это будущее. Все моральные ценности и учения принадлежат для него истории. Из этого не следует, что политика находится для социалиста за пределами морали, но сама мораль лишается трансцендентного фундамента. Для консерватора чаще всего существует неизменный моральный порядок, а история представляет собой вечный круговорот. Пока трансцендентный моральный поряд-

док не вызывает сомнений, все верующие в него являются в каком-то смысле консерваторами. Человеческая природа неизменна, а потому борьба идет не за “счастливое будущее”, но за наведение порядка в собственной душе и в обществе, дабы высшие устремления доминировали над низшими. Для консерватора совсем не обязательно стремление восстановить какие-то институты недавнего или давнего прошлого, поскольку он легко может согласиться с тем, что они отжили свое и должны исчезнуть. Революционеры с консервативной точки зрения суть варвары, даже если многие из них делаются “охранителями” на другой день после захвата власти. Разрывая культурную преемственность, они не движут общество вперед, но отбрасывают его к состоянию примитивной орды. Законы “партийной этики” коммунистов или бандитской шайки — это и есть законы стаи хищников, порвавших с культурой. На место сложной иерархии человеческих отношений тогда приходит простейшая пирамида, на вершине которой стоит звероподобный фюрер. Хаотическая тьма просветляется и преобразается постепенно, усилиями поколений, ткавших многоцветную ткань культуры; варвару ее рисунок непонятен, и он несет сначала упрощение, а затем и хаос. Консерватизм не есть слепое

сохранение отжившего и смертного, его целью является борьба с энтропией, органический рост в преемственности поколений.

В истории интерес для консерватора представляет особенное и неповторимое, которое не подводится под какие бы то ни было общие формулы. Будущее нам неизвестно, а потому его нельзя планировать. Гордыня желающего “переделать мир” по какому-то заранее составленному плану ведет к бессмысленному насилию над себе подобными — следствия подобного вмешательства чаще всего пагубны. История понимается консерваторами как органическое единство прошлого, настоящего и будущего. Новое произрастает из старого, традиция есть единство живых и умерших, дедов и внуков, предков и будущих поколений. Народ, который забыл свою историю, обречен на исчезновение; любое беспамятство (под крики о желании начать все сначала) свидетельствует о кризисе и смуте. В политике для консерватора стоит вопрос о выборе наименьшего зла, а не о реализации промысла. Оградить культурный космос от деградации и упадка — вот цель консерватора. Ссылки на универсальные законы истории, стремление к “прогрессу”, который должен осуществить какой-то “рай”, отвергаются всеми консерваторами. Свободный гражданин

служит своему отечеству с его конкретной историей, а не идолу Истории, которому нужно приносить кровавые жертвы. Такого сорта гипотетические “законы истории” вообще выводятся за пределы политической теории: обстоятельства и режимы меняются, но выбор между добром и злом в политике остается примерно тем же самым во все времена.

Все стороны социальной жизни органически связаны друг с другом, а потому любая реформа должна считаться с прошлым, с изменениями не следует торопиться. Органическое видение общества противопоставляется механическому, социальному атомизму. Человек рождается в семье, он принадлежит клану, племени, словию, народу. Консерватор вообще предпочитает говорить не об индивиде и обществе, но о “промежуточных” группах — гильдиях и ассоциациях, провинциях и регионах, конфессиях и культурах. Индивид оформлен именно ими, прежде всего семьей. Поэтому консерваторы негативно относятся ко всем версиям теории общественного договора, отвергаемым как рационалистические фикции, не получающие подтверждения в истории. Из этого следует скептическое отношение к декларациям “прав человека”: человека “вообще” не существует, а правами каждый обладает в

конкретной правовой системе, являющейся составной частью традиции. Разумеется, современные консерваторы поддерживают Декларацию прав человека, поскольку эти права вошли в западную традицию. Но возникли они исторически, их не было несколько веков назад, не говоря уж о первобытном племени.

Тот, кто истолковывает историю народа, тот определяет и его будущее. Это имеет прямое отношение к политике: от понимания прошлого зависят наши проекты и решения. Тот, кто считает коммунизм вершиной мировой истории, действует иначе, чем тот, кто считает его тупиком или тюрьмой. Все политические конфликты находят свое отражение в историографических битвах. У всех партий имеется и свой Пантеон. Так, французские правые чаще вспоминают о Жанне д'Арк или генерале де Голле, а левые — о Вольтере, Руссо или Жоресе; левые в России повторяют слова о “разбудивших Герцена” декабристах, ведут родословную большевиков от Чернышевского и народovolьцев, тогда как российским правым ближе Петр Великий и Столыпин. И те, и другие при этом могут быть патриотами, хотя вкладывают в слова о любви к отечеству разное содержание. При всей любви к собственному народу русские правые восхваляют не Пу-

гачева, но подавлявших бунт Суворова и Державина. История — важнейший элемент политической культуры, поскольку она задает образцы поведения, является “учительницей жизни”.

История всегда пишется от какого-то лица. События прошлого отбираются и выстраиваются в ряды людьми, которые сами принадлежат некоторой общности, разделяют определенные ценности и стремятся к каким-то целям, включая политические. Вопрос о том, кто интерпретирует прошлое, сказывается на решении самых насущных социально-экономических проблем, которые, казалось бы, прямо никак не связаны с происходившим в 15-м или в 19-м столетии. История деяний предков дает нам идентичность — мы осознаем себя русскими, а не немцами, французами или эстонцами. “Человек вообще”, без рода и племени, без материнского языка и созданной его народом культуры не существует. Истолкование национального прошлого дает иерархию ценностей и смысловое “пространство” для каждого гражданина. Если одни призывают его гордиться далеко не лучшими эпизодами нашей истории и ходят на демонстрации с портретами Сталина, требуют восстановления памятника палачу, а другие рисуют это прошлое исключительно черными краска-

ми, представляя всех русских холопами и даже погромщиками, то никакое национальное согласие невозможно. Нигилистическое отношение к прошлому мстит за себя тем, что ученые эмигрируют, предприниматели вывозят капитал, а утратившая нравственные ориентиры молодежь пополняет преступные банды. Доверив писание учебников истории людям, отбавывающим гранты зарубежных фондов или, тем более, идеологам, которые десять лет назад фальсифицировали российскую историю от имени “марксизма-ленинизма”, а ныне нашли “спонсоров” среди явных противников российской государственности, мы очень скоро окажемся в окружении “Иванов, не помнящих родства”.

Истинный патриотизм воспитывается не за счет объективности: трагические страницы прошлого нам нужно знать не хуже героических. Наибольшие споры, естественно, вызывают события XX столетия. При всем неприятии коммунистической диктатуры, чудовищных преступлений, бессмысленной растраты народных сил, мы не должны сводить всю эту историю к ГУЛАГу. Нельзя лишать смысла жизни несколько поколений людей. Есть то, что объединяет подавляющее большинство граждан России. Все мы можем гордиться страной великой литературы и

музыки; 9 мая является праздником и коммунистов, и антикоммунистов; первые полеты в космос связаны не только с гонкой вооружений, но также с высочайшим уровнем развития науки и техники. Мы должны ясно видеть, что русскому народу пытаются навязать исторический “комплекс неполноценности”, заставив десятилетиями каяться и “замаливать грехи”. Антироссийская пропаганда в бывших республиках СССР прямо связана с обвинением всех русских — прежде всего тех, кого лишили всех прав и желают выдворить — в навязывании коммунистических порядков (хотя Ленин не случайно больше доверял латышским стрелкам) и в “русификации”, хотя именно чуждая российским интересам власть повсюду создавала те элиты, которые в одночасье стали из обкомовских “национальными”. Для того, чтобы проводить необходимую России политику в “ближнем зарубежье”, нам нужно искать в прошлом то, что объединяет: Киевская Русь соединяла всех восточных славян, грузинский и армянский народы не выжили бы в составе Османской империи. Но еще важнее историческая память для национального согласия в самой России. Несколько десятилетий не какие-то засланные в Россию чужеземцы или “инопланетяне”, но сами русские крушили церкви и

рубили иконы. Урок того, что не следует делать с собственной историей, был дан совсем недавно. Нам нет нужды шельмовать Горького, Маяковского или Шолохова за то, что они разделяли заблуждения миллионов других россиян. Обращение к истории должно способствовать согласию. Можно сказать, что гражданская война длилась у нас целый век, и теперь настало время примирения — не забвения, не беспамятства, но понимания того, что у нас одна Родина, что наши дети и внуки не должны повторять тяжкие ошибки дедов и прадедов.

Родина

Всякий нормальный человек любит свое отечество. В письме к Чаадаеву — предтече наших “западников” — Пушкин, вероятно, лучше всех выразил эту любовь разумного патриота: “...я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал”. Но следует помнить и о том, что Пушкин писал эти слова по-французски; никто не обязывает нас любить Гоголя больше Сервантеса или Эсхила, Чайковского предпо-

читать Моцарту, быть сторонником философии Соловьева и Бердяева, а не Канта и Хайдеггера. Квасной патриотизм почти столь же далек от истинного, как национальное беспамятство. Правда, безграмотный шовинист все же в иных ситуациях готов жертвовать своей жизнью ради отчизны, ему иногда удается втолковать, что в любви не признаются на виду у всех, да еще истерическими криками, тогда как изначально лишенный любви к Родине человек духовно ущербен — любви нельзя научить речами. Но идеология национальной исключительности не имеет ничего общего с консервативной позицией. Шовинизм вообще является наследием не консерватизма, а якобинской диктатуры и “национал-либерализма” 19-го в.; в нашем столетии он был орудием “тотальной мобилизации” фашистских и коммунистических режимов. Как писал известный дореволюционный историк античности Ф.Ф.Зелинский: “Патриот дела видит свою задачу в том, чтобы своими заслугами украшать национальное знамя; патриот слов пользуется этим знаменем для того, чтобы прикрывать им свою собственную позорную наготу”¹⁴. Патриотизм является нормой, показателем душевного здоровья; крикливый шовинизм патологичен.

Консерватор не претендует на то, что он любит отечество больше, чем либерал или коммунист. Согласие в обществе обеспечивается именно тем, что у большинства людей имеются общие верования и стремление к совместной жизни. Идеи могут быть различными, но там, где раскол происходит на уровне определяющих нашу жизнь убеждений, без которых мы не мыслим собственного существования, неизбежен конфликт, принимающий иной раз форму гражданской войны. Относительно идей и целей возможны компромиссы, и искусство политика заключается в том, чтобы искать согласия с противниками; пока они разделяют с нами любовь к Родине и желают блага для своих сограждан, такой компромисс возможен. При всех различиях европейских левых и правых партий представители и тех, и других не ставят под сомнение то, что оппоненты ничуть не меньше хотят своей стране блага, но не вполне верно его понимают.

Признавая то, что политические конкуренты могут ничуть не меньше любить свою страну, консерваторы не скрывают своей неприязни к “пролетарскому интернационализму”, казенной “дружбе народов” советского времени или к доходящей до предательства национальных интересов преданности “ценностям мировой ци-

визации” части правящей элиты последнего десятилетия. Это не означает отрицания дружбы или тех ценностей, которые выходят за пределы границ какой-то одной нации. Любовь к своей земле не означает неприязни к чужеземцам — патриотизм есть общность любви, а не ненависти. Наша национальная традиция определяется принятой тысячу лет назад христианской религией, для которой “нет ни эллина, ни иудея”. В основе всех цивилизаций лежат сходные ценности, без которых невозможна сколько-нибудь упорядоченная совместная жизнь множества людей. Истины науки не зависят от национальной принадлежности ученых — нет “арийской физики”, как нет и “пролетарской биологии”. Однако все эти ценности имеют конкретное национальное воплощение, и мы не без оснований говорим, скажем, о древнегреческой философии, итальянском Возрождении или немецкой музыке. То же самое можно сказать о нашей национальной традиции: иконы Рублева выражают общий для всех православных канон, но они отличаются от византийских или болгарских; музыку Чайковского или Мусоргского мы не перепутаем с творениями Баха и Гайдна. Для консерватора характерно органическое понимание национальной культуры как слива-

ющегося в единство многоголосия, а не распадающегося в какофонию набора звуков. Существуют написанные по-русски и не лишенные литературных достоинств произведения, которые мы не можем назвать “русскими”: они расходятся со всей нашей культурой. Эти образы из мира художественного творчества можно с известными оговорками перенести и на сферу политики. Терпимость к чужим мнениям и к политическим проектам других партий имеет свои границы. Если бы мы были готовы принять любую власть — восточного деспота, анархистского “батьки”, фашиста или коммуниста, корыстного “олигарха” или платного агента другой страны, — то мы перестали бы быть не только убежденными консерваторами, но и патриотами. Есть то, что выходит за пределы всех компромиссов, поскольку ведет страну в пропасть.

Любовь к отечеству начинается с любви к “малой родине”, но она не будет завершенной без преданности своему государству. Консерваторы являются государственниками, хотя далеко не всякий режим может ими признаваться. Мы принадлежим восходящей к античности и христианскому представлению о личности традиции, для которой государство, не признающее гражданских прав и ряда свобод

вообще не может таковым называться. Государство существует для общего блага всех соотечественников, оно является не механической суммой интересов, но целым, ради которого в иных ситуациях гражданин должен жертвовать не только собственностью, но и жизнью. Без отечества с его историей, языком, обычаями я не был бы никем, а потому угроза отечеству является и угрозой моей личности, всему моему существованию. Взрослый человек не предается детским мечтам о других эпохах и странах: нужно принимать свою судьбу, нужно достойно прожить свою жизнь. А она определена местом и временем рождения, которые мы не выбирали. Без государства у нас не было бы прав и свобод, ибо их нет в орде или в банде. Консерваторы стоят за невмешательство государства в личную жизнь, но они признают и то, что частное не существует без общественного. Высшей формой народной жизни является государство — именно поэтому лишённые государственности народы чаще всего быстро исчезают или ведут скитальческую жизнь. В отличие от либералов, консерваторы признают примат целого над индивидуальными интересами; в отличие от социалистов и, тем более, коммунистов, они видят это целое как подлинное единство многообразия, как жи-

вой организм. В нем находят свое место самые различные интересы и стремления, обычаи и традиции. Условием такого единства является свободный союз людей.

Нация

Консерватизм, если взять его историю, был поначалу менее “национальной” доктриной, чем либерализм. Представители высшего сословия “старого порядка” говорили по-французски во всех континентальных странах, тогда как о “единой и неделимой” нации писали якобинцы и их наследники. Национализм был прямо связан с либерализмом, с пришедшей к власти буржуазией. Защищавший монархические устои “Священный Союз” противостоял именно национальному принципу, который отстаивали либералы. И “Марсельеза” с ее кровавыми куплетами, и ставшие немецким гимном стихи “Deutschland ueber alles” создавались и пелись поначалу совсем не консерваторами. Либерализм в ту эпоху звал не просто к гражданским свободам, но к их осуществлению в рамках национального государства. Национальные чувства подогревались чаще всего самыми радикальными демократами. Можно вспомнить о том, что первое аутодафе для “антинациональных” книг в Германии

устроил не Геббельс, но “свободолюбивые” студенческие союзы; один из членов такого союза, К. Занд, заколол писателя А. фон Коцебу, находившегося на русской службе, а потому объявленного “шпионом” и “предателем” в национально-демократической прессе. Шовинизм во Франции был порожден революцией: каждый землепашец должен был стать “патриотом” в казарме. Либерализм 19-го в. был куда более националистичен, чем консерватизм, и не случайно колониальная экспансия велась при самых либеральных правительствах и под лозунги “распространения цивилизации”. Империализм европейских наций конца 19-го в. обосновывался чуждыми консерватизму идеями социал-дарвинизма, выживания сильнейших, “борьбы за место под солнцем”. Сегодняшние критики “тоталитаризма” охотно цитируют третий том “Истоков тоталитаризма” Х. Арендта, в котором речь идет о гитлеровском и сталинском режимах, но забывают о первом томе, в котором говорится о колониальных захватах под либеральные речи. Нужно помнить о том, что первая война “за свободу” была войной Англии против Китая за свободу торговли опиумом.

Консерватизм стал национальным много позже, когда монархи и дворянство стали говорить на родном языке: в России

таким монархом был Александр III. К концу 19-го в. консервативные партии начинают отстаивать не только интересы крупных и мелких землевладельцев, но также национальной промышленности, выступая инициаторами разного рода протекционистских мер. Накануне Первой мировой войны и либералы, и консерваторы начинают говорить языком крайнего национализма, и не так уж важно то, что одни из них ссылались на республиканский патриотизм, а другие на монархические традиции — шовинизм французских радикал-демократов мало чем отличался от антинемецкой пропаганды *Action française*.

Иными словами, в истории как консервативной, так и либерально-демократической идеологии встречаются крайне националистические течения. Но только для известного сорта “левых” всякая защита национального интереса тут же осуждается как чуть ли не “фашизм”. Все те, кто признает верховенство национальных интересов над классовыми, отвечают на это, что войны и захваты, конечно, нежелательны, но нет ничего хуже гражданской войны, которую проповедуют такого сорта “гуманисты”. У наших предков зачастую не было выбора: воевать или не воевать с другими странами — история государств

была донныне историей войн, причем в наше время самые беспощадные (при этом самые лицемерные) войны велись за “прогресс”, “демократию”, “права человека”, “цивилизацию”, хотя после каждой такой войны оставалось все меньше именно тех ценностей, за спасение которых они начинались. Фашизм (точнее, национал-социализм) был не просто крайним национализмом, в нем мы находим расовую доктрину, которая была плодом не только умозрений каких-то второсортных теоретиков, вроде Гобино и Чемберлена, но также продуктом эпохи колониальных захватов. Когда уже не на негров, индусов и китайцев стали смотреть как на “недоразвитых”, когда другие европейские народы или национальные меньшинства были объявлены “недочеловеками”, захватнические планы получили расовое обоснование. Консерватор вполне может согласиться с марксистом, связывающим фашизм с империализмом, но из этого признания не следует лозунг превращения внешней войны в гражданскую. Именно угроза гражданской войны создала в Италии и в Германии условия для прихода к власти фашистских режимов.

Нация не тождественна этносу, каким-то расовым или даже языковым особенностям составляющих ее членов. Конечно,

трудно представить себе китайскую национальную культуру без учета расовых черт ее носителей, но мы в точности до сих пор мало что знаем о генетических отличиях между представителями белой и желтой расы. Политика не может строиться на основе этнографии — во всех странах люди смешивались на протяжении веков, и, с точки зрения науки, “чистота расы” является мифом. Только в небольших горных селениях или в им подобных замкнуто живущих общинах долго сохраняется некий “чистый” тип, но вряд ли такое кровосмешение полезно даже биологически, не говоря уж о том, что без постоянного обмена упрощается и застывает любая культура. Расизм не только несостоятелен с научной точки зрения, не только отвратителен для любого воспитанного в христианской культуре человека — исповедующие расистские воззрения лица чаще всего представляют собой сборище неполноценных представителей той самой нации, которую они хотели бы “защищать”. Озлобленные неудачники ищут “козлов отпущения” среди инородцев, поскольку им требуются виновные в том, что сами они подлы и ничтожны. В России такой убогий способ деления людей на “своих” и “чужих” вообще никогда не поддерживался элитами. Достаточно вспомнить о немецкой по

крови династии, о литовском и татарском происхождении многих княжеских семейств, или, скажем, об африканских предках Пушкина. Сам русский народ долгие века сосуществовал с другими этносами и смешивался с ними на огромных пространствах империи.

Так называемый “национальный вопрос” породил огромную литературу еще в 19-го в. На сегодняшний день хорошо известно, что нации представляют собой достаточно поздние образования, что они в значительной мере были продуктом пропаганды и “социальной инженерии”: нации в современном смысле создавались вместе с распространением всеобщего школьного образования, вместе с обязательной воинской службой, газетами, партиями, централизованным полицейским и административным аппаратом. Первые шаги к образованию наций были сделаны еще во времена абсолютных монархий, но окончательно они оформились только в 19-го в. На протяжении 20-го века возникло множество наций, и всякий раз за таким превращением зачастую плохо понимавших друг друга людей в нации стояли элиты, располагавшие средствами для ведения пропаганды, а то и для ведения вооруженной борьбы. Иначе говоря, нации создаются и поддерживаются людьми.

они не обладают каким-то неизменным “субстратом”. Поэтому они могут и распадаться — или по воле соперничающих элит внутри страны, или под прямым воздействием внешних сил, пользующихся красивыми словами о “праве наций на самоопределение” в тех случаях, когда это представляет прямую выгоду. Всегда можно купить несколько сотен “интеллектуалов”, соблазнить их тем, что провинциальные преподаватели и местечковые “пикейные жилеты” за свою “борьбу” получают места министров и депутатов, послов и банкиров. За примерами нам не нужно ходить далеко: не только в “ближнем зарубежье”, но и в некоторых национальных республиках самой России таких “борцов” за собственное “светлое будущее” более чем достаточно.

Слово “нация” в английской и французской политических культурах практически равнозначно “государству”, т.е. вообще не включает в себя каких-то ссылок на этническую принадлежность граждан. И немец из Эльзаса, и бретонец, и гасконец (баск) равно считают себя французами. Нация предполагает наличие государственного языка, но при этом все прочие языки могут свободно употребляться в местах, где живут представители иноязычных групп. Нация может состоять из двух или более разноязычных народов, но ни-

кто не ставит под сомнение того, что бельгийцами являются и фламандцы, и валлоны, а швейцарцами на равных — и немцы, и французы, и итальянцы. Несколько иной является традиция в Центральной и в Восточной Европе, где нация понимается куда ближе к “национальности”, к “народу”. В Германии понятие “нация” до сих пор часто передается словом Volk (народ), а гражданство доньше во многом связано с родством “почвы и крови”: прибывшие из Казахстана потомки переселившихся при Екатерине II немцев автоматически получают немецкое гражданство, тогда как до самого последнего времени родившимся в Германии детям “гастарбайтеров” приходилось претерпевать немалые усилия для его обретения. Тем не менее, и в рамках такой традиции на первом месте стоит именно гражданство, которое не зависит от этнической принадлежности и языка.

Нация не существует без государства, хотя ему не тождественна. Государства существовали на протяжении нескольких тысячелетий без прямой связи с национальным принципом организации. Конечно, в тех случаях, когда основу государства составлял один этнос с близкими диалектами и общими религиозными верованиями (Древний Египет или Китай), встречались феномены, которые в чем-то сов-

падают с современными нациями. Тем не менее, ни язык, ни религия, ни управление из одной столицы еще не являются достаточными признаками для образования нации. В марксистской литературе “национальный вопрос” получил основательную разработку уже потому, что пламенные интернационалисты желали сокрушить национальные государства. В марксизме правомерно была поднята проблема экономических взаимосвязей: нации здесь были увязаны с развитием единого внутреннего рынка, с хозяйственными отношениями и торговыми путями. При всей своей ограниченности этот подход все же куда правомернее, чем болтовня всякого рода “мультикультуралистов”. Указывая на искусственный характер наций, на то, что они являются порождениями людей и в этом смысле относительны, сторонники “постмодернизма”, по существу, желали бы вообще упразднить понятие нации.

Признавая тот факт, что нации окончательно оформляются только вместе с появлением современных государств, равно как и роль хозяйственных связей в их становлении, консерваторы не считают национальную идентичность каким-то фантомом, произвольным творением хищных элит или слепых экономических закономерностей. В человеческом мире все воз-

никает из отношений между людьми и в этом смысле является относительным. Но не все отношения между людьми зависят от желаний или произвола. Что может быть относительнее эстетических оценок? Кажущееся одному прекрасным, безобразно для другого, но в рамках одной культуры эти суждения подчинены не только моде. Вкусы имеют свою историю, соотносятся с ценностями, лежащими за пределами искусства. Любая человеческая культура полна неявных конвенций, и в этом отношении она искусственна; естественной для человека является принадлежность к одной из культур. Нет человека без культуры и нет культуры, которая была бы “ничьей”, не была бы порождением тех или иных народов. От животных человек отличается тем, что передает жизненно важные навыки не биологически, но посредством знаковых систем. Их совокупность носит имя культуры, которая обладает неким “кодом”. Существует своего рода ядро культуры, включающее в себя способ регуляции социальных отношений, моральные запреты и предписания, воспитания потомства, базисные верования, представления о добре и зле, истине и лжи. Хотя каждая такая система идей и верований исторически меняется, пока она сохраняется, мы говорим о “древнем

египтянине”, отличая его от “древнего грека”, о “немце” и “французе”. Именно эта культурная идентичность лежит в основе государств-наций. У людей имеется представление об общем для всей группы прошлом, о единстве судьбы. Пока эти группы желают сохранять свою обособленность от других, пока они ставят эту идентичность выше классовых или конфессиональных различий, существует и нация. Иначе говоря, консервативное видение нации связано с пониманием роли культурной традиции в человеческой жизни. Мы принадлежим нации, поскольку являемся носителями определенной культуры.

Каждая культура представляет собой своего рода “точку зрения” на мир. Мы видим действительность в определенной перспективе, и от того, как мы смотрим на мир, какова широта горизонта, зависит и то, что мы видим. Тот, кто смотрит на всех с ненавистью, сам видит только злобные лица. Один и тот же лес по-разному выглядит для живущего неподалеку крестьянина, выехавшего на пикник горожанина, охраняющего насаждения лесника и бизнесмена, думающего о цене на древесину. Культура есть способ видения мира, его организации — от того, как мы созерцаем мир, зависит наша деятельность. Словом “мировоззрение” часто злоупотребляли.

но можно сказать, что у культуры любого народа имеется своя “перспектива”, а тем самым и отличный от других народов “ландшафт” — достаточно сравнить западноевропейскую поэзию и живопись с китайской или арабской. Индустриальный пейзаж современности является продолжением научно-технического взгляда на мир. Индивид не в состоянии “изобрести” картину мира, он может лишь чуть изменить полученные им образцы, а они были созданы на протяжении истории его народа. Поэтому даже возненавидевшие собственный народ и отрекающиеся от своей истории отщепенцы не могут целиком лишиться национальных черт — русский “нигилист” отличается от французского или британского.

Память о прошлом, о деяниях общих предков составляет одну сторону национальной идентичности; другой является так называемый национальный интерес. Если люди хотят продолжать совместное существование по выработанным предками правилам, они должны принимать общие решения по поводу настоящего и будущего. Нация является итогом не только свершений и жертв предков, но и общей воли современников. Предки совершали великие деяния, но считать себя достойными их наследниками мы можем только

в том случае, если сами готовы действовать и служить образцом для потомков. Нацию тем самым образует солидарность ее членов не только относительно прошлого, но и солидарность в решении сегодняшних проблем. Наше общее согласие продолжать совместное существование находит свое выражение в проектах будущего, а иной раз и в готовности вести борьбу. Э. Ренан однажды употребил удачную метафору, сравнив существование нации с ежедневным плебисцитом — пока мы солидарны с нашими соплеменниками, пока мы держимся в основном схожих верований и ценностей, мы остаемся нацией. Национальный интерес не сводится к сумме эгоистических устремлений индивидов, групп или фирм — сами они не находят реализации без общего стремления всей нации. Забывающий о таком интересе делец не понимает того, что его предприятие зависит от защиты государства, что оно не выдержит конкуренции и лишится внутреннего рынка, если политики перестанут следовать национальным интересам. Желая поднять работникам заработную плату профсоюз может забыть о том, что слишком высокий уровень зарплаты может привести к бегству капитала, а забастовка, будучи законным оружием наемных работников, может повре-

дить нации в целом, а тем самым и поднятым на забастовку рабочим. И внутренняя, и внешняя политика являются концентрированным выражением национального интереса, и спор между настоящими политиками, а не продажными политиками или актерами “тусовок” ведется именно по поводу национального интереса. Можно сказать, что настоящая политика начинается там, где задеты интересы миллионов людей, а настоящие партии образуют только те, кто способен предложить программу, выражающую национальный интерес, кто может и хочет такую программу реализовывать. Все прочие лица на политической сцене излишни — к сожалению, на нынешней российской сцене именно такие лица составляют большинство и часто получают главные роли.

Жить “единым человеческим общежитием” можно лишь в том случае, если на место нации приходит другая группа, с которой отождествляет себя человек. Католическая церковь вненациональна, как и крупная международная корпорация, но они все же привязаны к “почве” — папский престол находится в Ватикане, а штаб корпорации в Нью-Йорке, Токио или Лондоне. Империи в наш век представляют собой национальные государства, како-

вым являются возникшие из выходцев множества стран Соединенные Штаты, каковым был ушедший в небытие СССР. “Советский патриотизм” не был выдумкой секретарей по идеологии; пока “американская мечта” скрепляет самые различные расовые и конфессиональные группы, она выступает как национальная идеология или, если угодно, “идея”. Существует американский национальный характер, во многом отличающийся от того, что мы обнаруживаем в тех странах, откуда прибыли эмигранты — достаточно сравнить США и Англию. Интернационализм “не имеющих отечества” пролетариев оказался кровавой утопией. Даже если мы мечтаем о временах, когда “народы, распри позабыв, в единую семью объединятся”, они удалены от нас на многие столетия. Такого рода мечты не следует принимать во внимание в сколько-нибудь серьезных политических делах, а пропагандисты подобных утопий либо не ведают, что творят, либо прямо работают на чуждые данной стране интересы. Во времена “холодной войны” западные политики обоснованно видели в коммунистических партиях не какое-то “интернациональное” образование, но “пятую колонну” Москвы. Точно так же сторонники “ценностей мировой цивилизации” служат даже не Западу в це-

лом (не говоря уже о “цивилизации”, к которой в большинстве своем они не имеют ни малейшего отношения), но интересам одной сверхдержавы.

О такого рода внутренних противниках необходимо сказать несколько слов, поскольку нации находятся в неизбежной конкуренции, а то и прямой борьбе друг с другом. Известный немецкий правый мыслитель К. Шмитт определял политическое отношение как отношение “друга” и “врага”. Внешняя политика кончилась бы, если бы на Земле осталось лишь одно государство. Пока этого нет, неизбежна борьба и меняются только ее средства. Но внешняя борьба не может не находить отражения во внутренней. Чем выше уровень единства одной нации, тем крепче она во внешней конкуренции; чем больше внутренний раздор, тем она слабее. Поэтому предпосылкой для ведения внешнеполитической борьбы Шмитт считал полное подавление “внутреннего врага”.

Нам нет нужды целиком принимать умозаключения Шмитта и следовать его рецептам установления авторитарной диктатуры для пересмотра невыгодных стране внешних договоров. Любой человек знает, что свободная внутренне личность не боится внешнего неприятеля, справившись с истинным врагом внутри:

у нас ежедневно и ежечасно происходит война со злом в собственной душе. Побеждающий в ней становится свободным, побежденный остается рабом при любом политическом режиме. Тот, кто слаб в этой войне, слаб и во внешней; одержав победу над страхом и подлыми страстями, человек не боится неприятеля вовне. В известном смысле это применимо к народам. Когда нет внутреннего единства, они слабы и презираемы другими. Однако такое единство нельзя навязать сверху пропагандой какой-то “национальной идеи”, созданной на подмосковной даче горсткой президентских советников. За малыми исключениями, люди не хотят чем-то жертвовать на “общее благо”, не стремятся к подвигам и в повседневной жизни вообще мало задумываются о судьбах отечества. Во время войны или стихийных бедствий положение меняется, и люди служат целому, часто вопреки своим ближайшим интересам. В мирной жизни подобное напряжение отсутствует, и всякого рода “патриотические” речи звучат фальшиво. Во время войны действительность видится в черно-белых тонах: вот “друзья”, вот “враги”, третьего не дано. В мирное время эта картина полна оттенков и красок, бывшие “друзья” делаются конкурентами, с “врагами” ведется торговля, заключаются сою-

зы. Нет наций, которые были бы вечными противниками: столько раз воевавшие Германия и Франция являются сегодня ближайшими партнерами; мы также помним, что немцы далеко не всегда приносили на нашу землю зло. Поэтому теорию “друга-врага” можно считать ограниченной и применимой только в эпохи войн и революций.

Когда в стране открыто выступают сторонники ее раскола, к тому же применяющие методы террора, никто не станет оспаривать права общества на самозащиту, включающую физическое уничтожение бандитов. Когда народ ведет борьбу за выживание, за право самостоятельно существовать на Земле, он вправе считать врагом всякого, кто покушается на его суверенитет, а все союзники в такой борьбе становятся друзьями. В это время необходима мобилизация всех сил и ресурсов, а потому противники ее внутри оказываются союзниками врага. Не только сталинский режим, но и страны с самыми демократическими формами правления принимали во время войны жестокие меры: в Англии были интернированы все эмигранты из Германии, включая бежавших оттуда евреев; в США в лагерях оказались сотни тысяч американцев японского происхождения. Любой политический режим предпо-

лагает те или иные формы насилия против внешних и внутренних врагов в чрезвычайных обстоятельствах. Разумеется, к врагам относятся совсем не обязательно представители каких-то национальностей, даже если от их имени кто-то начинает не только проповедовать идею отделения, но и применять для этого насилие. Государство карает не за национальные идеи, но за нарушение существующих законов. Сложнее ситуация с теми, кто прямо никаких законов не нарушает, но действует в ущерб национальным интересам. Во всякой большой стране имеется целая сеть “агентов влияния”. В условиях мира они редко приносят значительный вред, они даже полезны, поскольку через них осуществляются разного рода торговые сделки, культурный обмен с другими странами. Они уже нетерпимы в условиях “холодной войны”, будучи — вольно или невольно — орудиями в руках враждебных сил. Они должны преследоваться в условиях, когда их действия могут вызвать революцию и гражданскую войну.

Можно сказать, что все русские революции были связаны с деятельностью такого рода внешних сил. Обычно мы вспоминаем о “немецких деньгах”, полученных Лениным, стоит помнить и о том, что февральская революция происходила с явного

одобрения тогдашних “союзников” по Антанте, которым не нравились договоры о проливах; революция 1905 г. в немалой мере делалась на деньги японского Генштаба. Известно то, что большевики тогда денег не получали, а главными “клиентами” были прочие революционные партии — от эсеров и меньшевиков до кадетов. Все русские революции происходили не без вмешательства заинтересованных в ослаблении страны внешних сил. По воспоминаниям Менделеева, поджоги складов в Петербурге начала 60-х гг. прошлого века осуществлялись руками “революционеров”, получавших деньги из Англии — об этом, как он пишет, знали практически все студенты того времени. Вряд ли визит Чернышевского в Лондон незадолго до этих событий был связан с желанием познакомиться Герцена. Наконец, мы хорошо понимаем роль целого ряда таких “агентов влияния” в событиях последнего десятилетия. Было бы наивно и глупо перелагать на “шпионов” всю ответственность за развал великой державы — для этого имелись внутренние причины. Но не следует думать, что без финансирования и прямой подрывной работы извне СССР так легко развалился бы, а нынешние республики “ближнего зарубежья” так быстро стали бы разбегаться от России. Достаточно по-

читать, скажем, украинскую прессу, причем не газетки каких-нибудь откровенных бандеровцев, чтобы понять, кто финансирует мощную антирусскую пропаганду. Приведу лишь один пример: в рассчитанном на элиту журнале, издаваемом на английском и украинском языках, мне довелось прочитать статью о семи (!) освободительных войнах Украины против России, а выводы были вполне прозрачными — без вступления в НАТО Украина вновь станет жертвой “русского империализма”. Содержать Украину Запад не в состоянии, но для покупки киевских политиков и журналистов средств достаточно. С такого рода “агентами влияния” мы постоянно сталкиваемся и в собственных средствах массовой информации, которые готовы приветствовать любой национализм, направленный против России, но любое проявление русского ими тут же приравняется к “нацизму”. И не только в СМИ: нападки наших “зеленых” на Минатом прямо связаны со строительством атомной электростанции в Иране; бывшие министры советуют МВФ не давать кредиты правительству, которое они были вынуждены покинуть; во время выборов у некоторых партий вдруг оказываются колоссальные средства. Речь совсем не обязательно идет о западных странах, поскольку так называе-

мый “ваххабизм” привносится на Кавказ извне; турецкие университеты не из чистой благотворительности приняли в 90-е гг. десятки тысяч студентов из тюркоязычных республик СНГ. Не стоит путать прежних русских “западников”, которые в большинстве своем были патриотами, с той порослью “реформаторов”, которые либо наивны до идиотизма (“Запад нам поможет”), либо просто куплены и работают “по заказу”. Они являются законными наследниками Смердякова, мечтавшего об оккупации России “культурными” завоевателями, или даже Иванушки из “Бригады” Фонвизина (“Тело мое родилось в России, но дух мой принадлежит короне французской”).

Мы живем в мире, где все страны преследуют собственные интересы, и было бы странно, если бы они не защищали их всеми доступными средствами. Но то же самое можно сказать и о России, а потому нам необходима защита от враждебных национальным интересам действий, направляемых из зарубежных центров. В условиях сегодняшнего безвластия они получили немалые шансы и пользуются ими, но именно эта деятельность делает правомерным вопрос о борьбе с внутренним врагом. Слова о “борьбе за демократию” или “борьбе с коммунизмом” в устах

такого сорта политиков и журналистов никого не должны обманывать. Никто так не помог КПРФ, как нынешний политический режим. В декабре 1993 г., когда в выборах не могли участвовать прочие оппозиционные этому режиму партии, коммунисты набрали всего лишь десять процентов голосов. В иных условиях они быстро утратили бы даже поддержку пенсионеров и уж никак не могли бы претендовать на то, что являются крупнейшей патриотической партией. Консерваторов не нужно убеждать в том, что коммунизм должен быть искоренен, что реставрация “развитого социализма” была бы величайшим бедствием, но борьбу с нашими политическими противниками не нужно путать с предательством национальных интересов. “Белые” как-нибудь разберутся с “красными” и без таких незваных помощников, которые пока что служили или заграничным, или своим корыстным интересам (чаще всего и тем, и другим сразу). Нам не стоит ждать искренней поддержки других стран в установлении порядка и создании гражданского общества. Сильная Россия не нужна никому, кроме нас самих.

Глядя на сегодняшние события, можно вспомнить о том, что происходило в сознании многих русских людей после революции. Принадлежавший до революции к

либеральному крылу кадетов П.И. Новгородцев в эмиграции развивает именно консервативные идеи и пишет: “Ведь так недалеко мы от того времени, когда ни одна из прогрессивных партий не решалась называть себя русской национальной партией, когда такое наименование считалось предосудительным и постыдным... Казалось единственно правильным и прогрессивным, чтобы в политических партиях люди соединялись отвлеченными узами либерализма и гуманизма, началами равенства и свободы, принципами демократии и правового государства. И не приходило в голову, что, помимо таких отвлеченных принципов, все, живущие в России, выросшие в колыбели русской культуры и под сенью русского государства, и могут, и должны объединяться и еще одним высшим началом, прочнее связывающим, а именно — преданностью русской культуре и русскому народу... Теперь нам кажется совершенно естественным и простым говорить о верховенстве и первенстве русского народа и русской культуры на русской земле и в русском государстве. А между тем так недавно еще — “свежо предание, а верится с трудом”, — серьезно обсуждали предложение в официальном обращении к власти заменить слова: “русский народ” словами: “народы России”, да

и сейчас есть организации, которые, не будучи социалистическими, стыдливо скрывают свою принадлежность к русскому народу под чисто географическим обозначением “русский”¹⁵.

Эти слова были написаны в начале 20-х гг., но кажется, что они сказаны сегодня. В Смутное время все думают о групповых интересах, вольностях и привилегиях, разрывая единое целое державы. Мы крепки задним умом и начинаем возвращаться к простому здравому смыслу после десятилетия безвластия, даже какой-то лихой “гулянки”, едва не развалившей наш дом и не уронившей крышу на головы не слишком трезвых драчунов. Только в эмиграции многие представители прежней политической элиты поняли, что же они творили на протяжении целого поколения “революционной деятельности” и “освободительной борьбы”. Из тех, кто профессионально занимался политикой, в эмиграции поняли и нашли мужество признаться в ошибках тоже далеко не все, поскольку хватало продолжавших твердить о своих добрых намерениях и винить во всем только большевиков. Но путь к власти демагогической деспотии проложили именно те, кто разнуздывал революционную стихию и в феврале 1917 г., и десятилетием раньше. Сегодняшним элитам

можно дать один совет: задумываться о своих действиях нужно до того, как вы станете доживать свои дни в эмиграции, если вообще успеете сбежать. В начале века нашлись офицеры и юнкера, которые пытались защитить от страшного врага не банкиров и демократических болтунов, но отечество. Нынешний правящий класс не может ждать защиты от униженных, месяцами не получающих денег и стреляющихся с отчаяния офицеров. Не на народе лежит ответственность за нынешние бедствия, и он терпеливо давал возможность элитам проводить экономические эксперименты и наживаться. Но этот запас терпения на исходе, а те, кто хочет использовать законное недовольство в своих целях, как никогда сильны и опасны. Пока элиты служат исключительно своим корыстным интересам, они даже не имеют права называться "элитой", т.е. теми, кого народ считает избранными и лучшими, достойными того, чтобы им управлять. Без национального начала в политике, без первенства национального интереса перед групповыми и партийными, все нынешние властные элиты обречены на быстрое и неумолимое крушение.

Нравственность и религия

Если человек по природе своей испорчен и зол, то удерживать его от преступлений может только система воспитания и наказания. Преступления должны караться со всей суровостью. Чаще всего консерваторы являются противниками отмены смертной казни. К избирателям консерваторов относятся мелкие и средние собственники, да еще и немолодого возраста, которым прямо угрожает преступность. Диктатура закона нужна не сильным и агрессивным, а слабым — детям, женщинам, старикам. Но одними политическими интересами постоянное обращение консерваторов к теме преступности все же не объяснить. Преступник нарушает не просто конвенциональные нормы права, но божественный закон, записанный в человеческом сердце. Консерваторы выступают против релятивизации понятия "преступление". Убийство ребенка в любой культуре остается убийством, а воровство находится под запретом повсюду, поскольку ни одна экономическая система невозможна без такого запрета. Имеются универсальные моральные законы, которые нельзя преступать. Иногда консервативное морализаторство раздражает (примером могут послужить американские республиканцы), но в основе лежит здоро-

вый инстинкт самосохранения: отменившая все запреты культура обречена, а моральная деградация элиты и особенно высших государственных лиц прямо ведет общество к коррупции и упадку.

Хотя смирение относится к несомненному для консерваторов добродетелям, они все же считают свободу и личную “годность” человека высшими ценностями. Речь идет не о гордыне, а об умонастроении человека, который знает себе цену, ставит себя не выше, но и не ниже того места, которое он занимает в мире. Хотя консерваторы часто говорят о “законе и порядке”, идеалом для них является не “умеренная и аккуратная” серость. Деятельный человек гордится плодами своего труда и верит в величие и достоинство человеческой природы. Консервативную мысль отличает не розовый оптимизм и не мрачный пессимизм — она держится реалистичного взгляда на человека со всеми его достоинствами и недостатками.

Здравый смысл подсказывает консерватору, что некоторые моральные ценности должны приниматься человеком как непреложные и не ставиться под сомнение. Либералы и социалисты часто критикуют консерваторов как “защитников предрассудков”. В известном смысле они таковыми действительно являются, по-

скольку уже в трудах Э.Бёрка мы находим своего рода “апологию предрассудка”. Но нужно уточнить, что под “предрассудками” ими понимается то, что дано нам до всякого рассуждения (пред-рассудок именно это и означает). Имеются некоторые усвоенные нами с детства представления, которые выступают как не подлежащие критике первоначала; из них выводятся все наши прочие представления о мире, других людях, нас самих. Я не стану разбирать здесь труды тех философов¹⁶, которые были видными “защитниками предрассудков” (в указанном выше смысле слова); если в области теоретического познания мы не обходимся без принятых как безусловно верные предпосылок, то еще в большей степени это относится к области морали. Научно-техническая рациональность хорошо служит нам в своей сфере действия, но она имеет и свои границы: если мы начинаем смотреть на ближнего как на атомную частицу или испорченный механизм, то к нему применимы соответствующие такому взгляду технические средства; если другой человек видится как животное, то им можно управлять по схеме “стимул — реакция”, а тем самым в “предрассудки” записываются все моральные заповеди. В.С. Соловьев иронически писал о натуралистах прошлого века, пы-

тавшихся вывести нравственность из дарвинизма: "Человек произошел от обезьяны и, следовательно, мы должны любить друг друга". Наука изгоняет из внешнего мира антропоморфные образы (в этом она согласна с монотеистической религией), но из этого совсем не обязательно следует натуралистическая этика, видящая в нормах и ценностях простую замену инстинктов. Существуют ценности и святыни, которые составляют ядро личности: без них человек перестает быть человеком.

Хотя консерваторы часто ссылаются на божественные заповеди и религиозные догматы, их идеология прямо не связана ни с одной конфессией. Можно быть атеистом или агностиком по личным убеждениям, но поддерживать церковь как социальный институт, гарантирующий порядок в обществе и поддерживающий иерархию. Церковь служит космическому порядку в борьбе против хаоса, литургия оказывает не только психологическое, но и эстетическое воздействие на души. В религии консерваторов интересует не столько личная вера, сколько именно институт, скрепляющий общество и задающий правила поведения. Исступленная вера даже опасна, поскольку фанатики слишком часто делались сектантами, диссидентами, бунтующими против мирской власти. Консерва-

торам близка не столько религия, сколько церковь, иерархия, уклад жизни, традиция. Важно вообще не то, что думает о религии индивид (лучше, если он, не будучи богословом, вообще не слишком задумывается о смысле догматов), но ходит ли он к причастию, выполняет ли в сообществе предписанные роли отца или матери, честного предпринимателя или ремесленника. Церковь видится как орудие социального порядка. Конечно, существуют лицемеры, желающие религиозными заповедями прикрыть корыстную защиту привилегий. Но для консерваторов на первом месте стоит порядок в душе человека, связь с вековой традицией. Поэтому они поддерживают те конфессии, которые были издавна приняты предками, и с подозрением относятся к адептам чужеземных религий. Это не означает неуважительного к ним отношения или преследования — "дух веет, где хочет". Однако уже намерения, вроде "христианизации" России из Атланты (или "исламизации" из Эр-Рияда), вызывают подозрение в том, что речь идет вовсе не о "духе", но о политических интересах далеко не всегда дружественных сил, а для этого имеются вполне цивилизованные меры противодействия. Все вероисповедания равны перед законом, но православие занимает среди них особое место. Наша

письменность и культура в огромной мере сформированы православием, без церковнославянского не было бы и сегодняшнего русского языка. Поэтому целенаправленные и щедро финансируемые попытки растворить православные общины в море протестантских деноминаций имеют не только религиозную, но и политическую составляющую.

Почитая святых своего народа, консерваторы не смешивают религию с государственными делами. Проповеди и посты нужны, но решение политических вопросов нельзя перекладывать на церковь; Бог создал нас людьми, пусть не праведниками, но исполняющими законы гражданами мы становимся сами. Спасение в загробной жизни является главной целью верующего, но в обществе сосуществуют люди разных религий, а потому церковная община не может служить образцом для государства. Консерватизм имеет мало общего с фундаментализмом или "интегризмом" — современное плюралистическое общество исключает подобные доктрины. Попытки решить все проблемы насаждением фанатического единомыслия приводят к трагическим результатам.

Семья и школа

Людьми мы становимся не в обществе и государстве "вообще", но в семье. В первые годы жизни формируются ум и характер ребенка. На родителях лежит огромная ответственность, от них зависит, вступит ли он в мир любви или ненависти. Вряд ли есть смысл пересказывать здесь все то, что пишут о детстве психологи и педагоги. Каждое общество располагает собственным идеалом человека, а потому с первых лет жизни ребенок осваивает образцы поведения и мышления, свойственные его вероисповеданию, сословию, классу, нации. Наряду с индивидуальным характером у него вырабатывается то, что психологи называют "социальным Сверх-Я" или "социальным характером". Нет ни малейшего смысла в "политизации" воспитания, в навязывании с букваря каких-то политических воззрений или идеологических штампов. Но "род" и "народ" — не только однокоренные слова; любовь к отечеству начинаются с любви в семье. Пушкин указал на связь этих двух чувств:

*Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека, —*

*Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества.*

В семье человек приобщается к традиции, к родным для него языку и культуре. Как писал И. А. Ильин, “из духа семьи и рода, из духовного и религиозно осмысленного приятия своих родителей и предков — рождается и утверждается в человеке чувство собственного духовного достоинства, эта первая основа внутренней свободы, духовного характера и здоровой гражданственности. Напротив, презрение к прошлому, к своим предкам... к истории своего народа, порождает в человеке безродную, безотечественную, рабскую психологию”¹⁷. Семья является важнейшим институтом общества, на ней неизбежно сказываются экономические трудности и социальные неурядицы. Консервативная политика предполагает целую систему мер по поддержанию семьи — многодетным семьям оказывается помощь (налоговые скидки, прямая поддержка малоимущих семей с большим количеством детей). Консервативные партии многих стран получают поддержку мощных женских организаций, которые предельно далеки от крайностей радикального феминизма. Консерва-

торы признают полное политическое и экономическое равенство полов (равно как национальное, расовое и т.п.), но с учетом традиций и без ущерба для семьи. Дети должны быть защищены от насилия, беспризорности, порнографии и наркотиков.

Из других институтов особое внимание консерваторов всегда вызывали школа и армия. Добродетель воспитывается, она зависит от традиции. Бедняки или рабы не получают воспитания, которое необходимо для того, чтобы быть добродетельным гражданином. Идеал всеобщего образования и охватывающей все население демократии мог возникнуть только вместе с переходом от “экономики нехватки” к “экономике изобилия”. До реализации этого идеала еще далеко — вряд ли он вообще осуществим на Земле. Существующая “демократическая” школа к нему нас не приближает уже потому, что в ней почти отсутствует элемент воспитания (даются знания и профессиональная подготовка), а там, где воспитание есть, его результатом является либо “идейный” фанатик тоталитарных режимов, либо “хороший парень”, “спортсмен”, конформист. Демократическая школа не учит гражданской добродетели, зато учит смотреть на человека “снизу”, сквозь призму современной на-

уки, сведя его до одной из “сил природы”. Консервативная критика демократии связана с отрицанием ею аристократического начала, которое было идеалом древних республик. Демократия для консерватора приемлема именно как “универсальная аристократия”, но путь к ней долог и сложен.

Сегодня мы имеем дело с массовой демократией и массовой культурой, которые чрезвычайно далеки от этого идеала. Как замечал уже упоминавшийся выше Л.Штраус, массовой культурой можно назвать ту культуру, которой можно овладеть при самых незначительных способностях, без всяких интеллектуальных и моральных усилий, да еще по самой дешевой цене. Пусть не “солью соли земли”, но “солью” демократии оказывается тот, кто ничего не читает, кроме бульварных романов и страницы о спорте в третьеразрядной газете. Массовой культуре консерваторы противопоставляют образование в классическом духе, а потому среди них мы чаще всего находим сторонников гимназий с обязательным изучением древних языков и серьезной исторической подготовкой. На Западе это образование называют “гуманитарным” или “либеральным”, хотя речь идет не о либерализме последних двух веков, а о “свободном” образова-

нии, нацеленном на воспитание гражданина. Сегодня консерваторы считают его средством сохранения аристократических ценностей в массовом обществе. Такое образование напоминает о величии человека, делает доступными творения великих умов прошлого, а потому оно учит скромности и освобождает от вульгарности. Образованный таким образом человек способен отличать зерна от плевел в мире мысли, он не станет поклоняться модным идолам и считать высшими достижениями дешевую безвкусицу, производимую современными “интеллектуалами”. Последнее не случайно с такой неприязнью относятся к классическому образованию, причем заменить его они хотят совсем не естествознанием и техникой, а так называемыми “социальными науками” — чаще всего содержащими даже не полезные сведения из экономики, социологии и психологии, но набор идеологизированных фрейдистских и марксистских схем.

Можно сказать, что целью школы консерваторы считают воспитание граждан, а если брать высшую школу, то ее целью является воспитание элиты. Не все могут получить хорошее образование и воспитание, но тот, кто его получает, несет и большую ответственность. Цицерону принадлежат слова: “старайся, чтобы государст-

во было обязано тебе не менее, чем ты ему". И гражданин античного полиса, и британский джентльмен, и русский дворянин знали, что за привилегию такого образования нужно платить верной службой отечеству. Школа и университет дают не только совокупность знаний и практических навыков. Они воспитывают граждан, а высшая школа — и будущую элиту страны. Тот, кто не хочет или не может воспитывать свою элиту, скоро оказывается под властью чужой. Но еще важнее обучение и воспитание тех, кто не станет политиками, менеджерами или учеными. По всему миру правые партии поддерживают систему профессионально-технического образования (только в России ее разваливали именно те лица, которые лишь по недоразумению называли себя "правыми") — далеко не всем доступна программа гимназии и университета, но обладающий профессиональной подготовкой рабочий более ценен для общества, чем нахватавшийся словесных формул демагог.

Такая подготовка способствует и тому, что в вооруженную сложнейшей техникой армию приходит способный управлять ею солдат. Армия, в особенности ее офицерский корпус, всегда были предметом забот консерваторов. Не культ грубой силы, но практический расчет говорят о том, что

миром правит борьба, в которой нет пощады слабому. За словами о "правах человека" или "права наций на самоопределение" почти всегда стоят геополитические интересы.

Государство

Свобода

Если социалисты являются “певцами” равенства, либералы отдают первенство индивидуальной свободе, то из этой известной триады консерваторы избирают братство — с той оговоркой, что этот идеал вошел в политическую историю не со времен французской революции, а вместе с христианством, если не много раньше. Можно даже сказать, что без братства между людьми невозможно никакое общество. В основании общества лежит не какой-то “общественный договор”, а постоянно возрождающаяся и длящаяся из поколения в поколение солидарность.

Отношение братства возможно между людьми, признающими, что между ними нет полного равенства; солидарность и служение общим целям ограничивает свободу каждого, ибо мы считаемся с другими; но братства нет и там, где один угнетает другого, лишает его свободы ради собственной корысти и прихоти. Идеал кон-

серватора поэтому таков: братское сосуществование свободных творить добро и равных в исполнении гражданских обязанностей. Он вряд ли осуществим на Земле, но идеалы на то и существуют, чтобы к ним стремиться.

Философский вопрос о свободе или богословский вопрос о свободе воли лежат за пределами политики — консерваторы менее всего склонны навязывать людям вероисповедание или какую-нибудь официальную доктрину. Сами они чаще всего держатся веры в трансцендентный миропорядок, исходят из христианского учения о личности как образе и подобии Бога. Человек слаб и грешен, ему нужно перебарывать свои инстинкты, своевольные страсти и далеко не всегда возвышенные желания. Он способен на это именно потому, что он свободен. Такова природа человека, а потому долгие эпохи тирании все равно не сделают всех людей послушными механизмами в руках деспота, идеолога или какого-нибудь “социального инженера”. Свобода является условием любого творчества, реализации человеком своих устремлений и способностей. Свобода не есть некое статичное состояние, но творческое усилие, которое завершается только вместе с физической или духовной смертью человека. Для того, чтобы чело-

век мог созидательно трудиться, ему нужна сфера, в которой он свободен от внешнего принуждения.

Именно поэтому консерваторы считают себя истинными защитниками свободы. Ни государство, ни “общественное мнение”, ни навязчивые коммивояжеры или журналисты не имеют права на вмешательство в личную жизнь, за исключением оговоренных законом случаев. Эти законы принимаются гражданами, которые платят налоги и содержат чиновников, полицейских и судей ради более упорядоченной совместной жизни. Счастье отдельного гражданина и выгода государства не всегда совпадают, и, пока речь идет не о выполнении гражданского долга, первенство отдается индивидам. Это не означает, что консерваторы склоняются к тому крайнему индивидуализму, который иной раз оправдывают либералы. На фундаменте эгоистичных интересов не построить ничего прочного, а их сумма вовсе не дает той “гармонии”, о которой часто говорят либералы, ссылаясь на “невидимую руку” рынка. Даже в экономике не все решается конкуренцией и борьбой “за место под солнцем”. Человек стремится к счастью, к физическим и духовным благам, а не к одной лишь прибыли. Можно понять того бедняка, который желает уто-

лить голод, а потому не свободен, угнетен нуждой. Но и он остается морально вменяемым человеком, если не обвиняет в своем личном неуспехе всех окружающих, не воюет и не намерен “экспроприировать экспроприаторов” в слепой классовой ненависти. Однако тому, кто хоть сколько-то поднялся над нуждой, кто живет в богатых западных обществах, консерваторы не устают повторять: гражданин стремится к общему благу, он участвует в политической жизни, чтобы решения принимались при его свободном участии. Да, в политике участвуют самые разные люди, от тупых негодяев до лоббистов чьих-то частных интересов. Но даже они в странах высокой политической культуры знают, что им нужно хотя бы изображать добродетель и служение *res publicae*. Основанием республиканского правления являются добродетель и разум. Распространяемый всякого рода сектантами и оккультистами иррационализм, в конечном счете, способствует политическому иррационализму, а его следствия хорошо известны: сон разума порождает чудовищ. Свобода является не только даром небесным — она многого требует от гражданина.

Поэтому свобода в упорядоченном обществе не выливается в произвол, в деспо-

тическую власть, не признающую права и полагающуюся только на силу. Свобода не походит и на анархическое своеволие, на “волюшку” того, кто делает то, что пожелает. Свобода есть естественная способность человека поступать так, как ему угодно, но в границах права, моральных норм, обычаев данного общества. Гражданские свободы предполагают огромную ответственность, чувство причастности и к происходящему в муниципалитете родного городка, и к решениям, принимаемым верховной властью.

Свобода обычно противопоставляется порабощению или принуждению. Если человек не умеет видеть сквозь стены или решать математические задачи, то здесь нет ни внешнего принуждения, ни ограничения его свободы со стороны других лиц. Если человек беден, получает нищенскую зарплату или пенсию, что не связано с его ленью, физической или умственной неполноценностью, то это уже сопряжено с социальным устройством, с экономической системой, которая хотя бы отчасти зависит от политических решений. За свободным гражданином всегда остается право на изменение тех законов, которым он подчиняется. Он имеет право на свободное обсуждение государственных дел, на дискуссии по любому поводу, хотя дол-

жен помнить, что демократия не сводится к непрерывным словопрениям — эффективной она становится лишь при умении принимать решения и их осуществлять.

Свободы слова и печати, вероисповедания и научного исследования предполагают нашу уверенность в том, что правда одолевает ложь, что существует какой-то нравственный порядок, который держится не одной силой. Если мы считаем людей исключительно злыми и своекорыстными существами, то предоставление им полной свободы было бы преступлением; если мы вслед за анархистами и некоторыми либералами полагаем, что человек по природе своей добр, а портят его дурные институты и предрассудки, то отпадают все ограничения — достаточно совершить революцию и изменить “среду”, которая “заела” уже готовых к земному раю людей. Консерваторы не впадают ни в одну из этих крайностей. Мизантроп, который повсюду видит только ложь, предательство и распутство, сам утратил идеалы истины и справедливости; прекраснодушный идеалист не замечает того, что эти идеалы требуют не внешних революций, но нравственных усилий самого человека.

В отличие от либералов, консерваторы в значительно большей мере склонны подчеркивать ограниченность той области, в

которой у человека имеется полная и нестесненная свобода действий. Терпимость является идеалом общественной жизни, но когда она становится терпимостью ко всему, то это приводит к утрате всех стандартов, всякой дисциплины. Сегодня о такой “толерантности” чаще всего говорят те западные “левые”, которые на практике вовсе не так уж терпимы к иным мнениям: ярлык “фашиста” или, по меньшей мере, “авторитарной личности” часто приклеивается к тем, кто не держится “политической корректности” и не считает проблемы каких-нибудь ничтожных “меньшинств” столь важными, чтобы о них непрерывно распространялись по всем каналам телевидения. Абсолютная терпимость невозможна, а критерии того, что следует терпеть, а что нетерпимо в человеческом обществе, заданы традицией. Принятые предками законы и обычаи выдержали проверку временем, и было бы опасно и неразумно менять конституцию с каждым новым парламентским большинством. Свободен человек в той области личной жизни, в которую нельзя вторгаться ни в коем случае, ибо иначе мы переходим грань, отделяющую самостоятельного человека от раба. Конечно, гарантию невмешательства государства в частную жизнь больше ценят богатые и деятельные: боль-

ному безработному нужны пища и лекарства, а не охрана его жилища и земельного участка от вторжения посторонних лиц. Тем не менее, такого рода свободы нужны всем: богач может разориться, безработный — найти хорошо оплачиваемое место, стать во главе профсоюза, который нуждается в строжайшей правовой регуляции взаимоотношений с работодателем.

Все должны иметь право на рост, крылья даны всем детям человеческим. Но люди не равны от природы, они сформированы семейным воспитанием, обычаями, институтами. Справедливость заключается в постепенном уравнивании шансов, в создании возможностей для всех членов сообщества, а не в механическом перераспределении через налоги, не говоря уж о коммунистической уравниловке. К тому же она иллюзорна, поскольку среди “равных” при социализме тут же образуется группа “самых равных” и на вершинах иерархии неизбежно оказываются не лучшие, а худшие. Консерватизм высоко ценит человека труда, он признает интересы не только предпринимателей, но и объединенных в профсоюзы рабочих и служащих. Но на первом месте для консерватора стоит не принадлежность к тому или иному классу, а личное достоинство каждого. Хотя консерватизм является светским по-

литическим движением, мировоззренческий его фундамент образует христианский гуманизм.

Гражданская свобода возможна только в условиях равенства прав. Консерваторы не выступают как проповедники равенства; люди не равны по своим талантам, воспитанию, старательности, энергии. В одних случаях желательно устранение неравенства, в других уравнивание было бы верхом несправедливости. Люди равны перед Богом, они равны как граждане одного государства, свободно избирающие своих законодателей. Но их свобода не простирается на истребление общественного порядка. Консерваторы исходят из того, что людям нужно мешать в подобных разрушительных действиях, ведущих к хаосу и смерти. Ряд полномочий индивид передает государству, которое не дает ему превращать социальный мир в джунгли, повинаясь корыстному хотению или ненависти. Но передает именно часть своих свобод — ради того, чтобы оставалась недоступная никакому контролю сфера существования. Религиозная вера, убеждения, право воспитывать своих детей, ответственность на произведение своих рук относятся к тому, что емко обозначается английским словом “privacy”: словно некое магическое кольцо окружает человека, и в

этот круг он сам пропускает или не пропускает всех прочих. Материальные его владения являются как бы продолжением его духовного достояния, внутреннего мира, без которого он перестает быть человеком. Каждый человек имеет право быть хозяином в собственном доме; каков этот дом, каков господствующий в нем порядок, зависит от души владельца. Человек является кормчим своего корабля, и только ему решать, куда кораблю плыть — как прожить свою недолгую жизнь, как реализовать себя в мире.

Власть

Консерваторы являются государственниками, они всеми силами отстаивают национальные интересы и признают необходимость государственного регулирования там, где это необходимо. Но у государственного вмешательства в экономику, в права местного самоуправления, разного рода ассоциаций и в индивидуальную жизнь должны быть четко установленные границы, поскольку иначе государство способно поглотить и уничтожить всякую самостоятельную деятельность. Обожествление государства, тем более каких-то преходящих форм государственной власти, представляет собой пагубное идолопо-

клонство. Когда человек начинает жить для государства, то все становятся чиновниками, винтиками механизма. Итог тотального огосударствления известен: “Народ идет в пищу машине, им же и созданной. Скелет съедает тело. Стены дома вытесняют жильцов”¹⁸. От технократов (не говоря уж о фашистах или коммунистах) консерваторов отличает четкое понимание границ вмешательства государственной власти в жизнь индивидов или общин. Гражданское общество предшествует государству как движущая причина, и оно является конечной целью всех государственных решений.

Состоящее из чиновников и солдат общество эстетически неприглядно, экономически бесплодно; любителям все “планировать” следует задуматься над как-то заданным В.В. Розановым вопросом: что интереснее — история министерства народного просвещения или история русской литературы? Государство необходимо как система вертикальных связей, но оно не может заменить связей горизонтальных — между людьми, предприятиями, университетами, городами.

Централизация и бюрократизация идут рука об руку с властью денег, с властью временщиков, грабящих провинции, с разрушением общинной жизни. Поэтому

консерваторы выступают за четкое разграничение полномочий центра и провинций, губерний и муниципалитетов. Значительная часть налогов должна оставаться уже на местном уровне, в поселке, городе, районе; другая их часть находится в распоряжении штата (США), земли (ФРГ), графства (Англия), кантона (Швейцария). Демократия предполагает контроль за расходами со стороны тех, кто платит и содержит армию чиновников и политиков. Четкое разделение обязанностей означает и полную ответственность перед народом. Мэр не должен кивать на губернатора, а тот — на федеральную власть, если проворовался или не справляется со своими обязанностями. Но и центр не должен обирать все регионы, чтобы затем перераспределением занимались чиновники. Это создает идеальные условия для коррупции, а консерваторы не верят в “добрую” природу человека, который из “идеи” способен устоять перед любым искушением. Народовластие предполагает личную ответственность избранных всех уровней. Консерваторы видят в широкой автономии муниципалитетов и провинций не ослабление вертикали исполнительной власти, но средство общественного контроля и основу демократического устройства. Как государственники, они

никоим образом не желают слабости отечества, сепаратизма и анархии; но власть в государстве принадлежит народу, самостоятельным и разумным гражданам, а не бюрократии. Чиновники являются слугами, нанятыми для исполнения необходимых функций, но не господами свободных людей.

В консервативной политической теории четко различаются три слова, которые часто смешиваются не только в разговорной речи, но и в трудах ученых и политиков: сила, власть и авторитет. Часто такое смешение связано не с невежеством, но с особенностями политической доктрины. Скажем, марксисты говорят о “социальных силах” тех или иных классов и сводят государство к насилию одних групп над другими; фашистские доктрины вообще характеризуются настоящим культом силы. Разумеется, консерваторы не отвергают того, что люди различны по своей силе, если речь идет о физических и умственных способностях. В древности от военного вождя требовалась изрядная физическая сила и умелое владение мечом. Но с тех пор, как существует более или менее упорядоченное государственное устройство, вершину общественной пирамиды редко занимают лучшие воины; чаще всего на ней находятся вообще не самые физичес-

ки сильные люди. Государство обладает “силой” и в том смысле, что оно имеет право применять насилие, но сила направляется здесь именно правом.

Мы говорим, что такой-то “стоит у власти”, что прочие “у него во власти”. Более уместным в большинстве таких случаев было бы слово “господство”. В действительности властью никто не “располагает” в одиночку, поскольку власть есть отношение между людьми и группами, и тот, кто “наделен властью”, получил ее от группы. Выражения вроде “властного человека” представляют собой метафоры. Если привести простейший пример: нет раба, если нет господина, и наоборот, нет господина без того, кто согласен на положение раба, пусть под страхом смерти — восставший уже не является рабом. Власть есть отношение между индивидами, точнее, между группами людей.

Центральным для консервативного мировоззрения является слово “авторитет”. У нас оно, к сожалению, ассоциируется сегодня с главарями бандитских шайек, да и вообще не получило широкого распространения в русском языке. Хотя у Достоевского говорится о “чуде, тайне и авторитете”, как абстрактное обозначение особого рода власти слово “авторитет” почти не употребляется (в отличие от западноевро-

пейских языков, где распространены производные от латинского *auctoritas* слова — *authority*, *autorité*, *Autorität*). Правда, мы употребляем его для обозначения личных качеств человека, говорим об авторитете отца в семье, об авторитетном мнении специалиста. В политической теории оно означает безусловное признание превосходства со стороны тех, кто подчиняется, причем делает это без принуждения, аргументов, пропаганды. Более того, там, где начинается откровенное принуждение или агитация, авторитет исчезает, подобно тому, как его лишается родитель, постоянно бьющий или “уговаривающий” ребенка. Авторитета нет ни у тирана, которого бояться, ни у того демократического лидера, который постоянно убеждает с помощью рациональных доводов или ссылок на выгоды. Авторитетом человек может обладать из-за высоких личных качеств или в силу своего положения в организации, которая почитается членами группы. Так, священник отпускает грехи, хотя прихожанин знает о его личных слабостях — авторитетом он обладает как представитель церкви. Государя почитают даже если он скверно ведет государственные дела, поскольку авторитетом обладает монархия.

Ни одно государство не может долгое время существовать с помощью террора: даже самые деспотические режимы в истории опирались не на одно насилие, поскольку деспоту нужны верные ему слуги, шпионы и палачи. Пусть большую часть населения составляют рабы, но и тогда режим нуждается в высокой степени солидарности между рабовладельцами. Государство, которое выражает интересы большинства, нуждается в авторитете даже больше, чем монархия или аристократия, поскольку ему требуется солидарность миллионов людей с самыми различными интересами. Обладающие самыми рациональными конституциями республики не случайно чтят такие символы, как национальный флаг, герб или гимн. С точки зрения “чистого разума” флаг является просто раскрашенной тряпкой, а любой гимн по своим эстетическим достоинствам ниже творений Моцарта или Чайковского. Но в совместной жизни людей далеко не все определяется одним разумом, и солдаты армии самого демократического государства должны умирать под этим флагом — иначе это государство не имеет будущего. Точно так же общество, состоящее из рациональных индивидуалистов, преследующих исключительно свои корыстные интересы, а потому не знающих ни-

каких авторитетов, неизбежно распадается. В соответствии со шкалой ценностей данного общества в нем выстраивается иерархия авторитетных фигур; в одном обществе первосвященник стоит выше царя, в другом какая-то кинозвезда почитается больше, чем глава исполнительной власти. Но такая иерархия всегда существует, и беда тому обществу, в котором высшим авторитетом пользуются не заслуживающие того лица. Утративший авторитет глава государства вредит ему даже больше, чем явные преступники. Как говорит пословица: “рыба гниет с головы”. Еще хуже, когда в глазах народа сам институт государства утрачивает авторитет — оно теряет легитимность и держится только насилием. Известен совет Талейрана, данный им Наполеону: “Сир, Вы можете делать со штыками все, что угодно, но Вы не можете на них сидеть”.

Закон и порядок предполагают наличие неких принимаемых всем сообществом истин и моральных норм, т.е. безусловного авторитета: опора на авторитет традиции необходима уже потому, что управляемое только страхом и насилием общество целиком зависит от полиции, но даже лояльность полиции в таком государстве всегда остается открытым вопросом. Авторитет придает легитимность по-

литическому строю. По классификации М. Вебера, авторитет может быть традиционным, харизматическим и рационально-легальным. Консерваторы вообще недоверчиво относятся к ссылкам на “чистый разум”, но и харизматические лидеры вызывают у них опасение. Авторитетом обладает традиция, которой постоянно грозит варварство; культуры подобны прекрасным цветам, которые может затоптать тупое стадо, ведомое каким-нибудь “харизматиком”. Поэтому для традиционалиста сомнительны ссылки на мистический опыт: мало ли что привиделось какому-то духовидцу, но если он принимается за реформы, то чаще всего является еретиком и соблазняет “малых сих”. Лучшим видом правления является тот или иной вариант аристократии, правления лучших, наиболее способных. Консерватизм элитарен, но он не является каким-то ностальгическим оплакиванием феодальной аристократии: речь идет о “личной годности”, о тех, кто достиг своего положения собственными стараниями.

Государственная власть не является ни удобным механизмом, обеспечивающим заключение контрактов между индивидами (так его видят многие либералы), ни системой классового насилия (согласно ортодоксальному марксизму). Идолопоклон-

ство перед конкретными формами власти ничуть не менее превратно, чем сведение государства к техническому инструменту или аппарату насилия. Для консерватора государство обладает онтологическим измерением, зачастую и религиозным смыслом: “всякая власть от Бога”, “начальствующий носит меч не напрасно”. П.Б. Струве писал: “В любви к государству выражается не политический материализм, иначе макиавеллизм, а, наоборот, бескорыстное, преодолевающее заботу о личном благополучии, религиозное отношение к сменяющему друг друга на земном поприще бесчисленному ряду человеческих поколений, почтение к предкам, которых мы никогда не видели, и любовь к потомкам, которых мы никогда не увидим”¹⁹. Государство может преступать свои границы, угнетать личность и подавлять народные силы, но оно необходимо и для индивида, и для общества, обладает не только могуществом, но и нравственным смыслом. Далекий от розового оптимизма взгляд на человеческую природу подсказывает, что для порядка в душе требуется внешний порядок, а иной раз и суровое принуждение. Русская история знает слишком много примеров того, что проистекает из “свободолюбивой” мечтательности и анархического своеволия. В.С. Соловьев однажды

заметил, что государство существует не для того, чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад.

Ставящие порядок под сомнение, подрывающие устои лица, несомненно, являются врагами консерваторов. Поэтому консерваторы так не любят “интеллектуалов”, которые желают переделывать мир по своим надуманным схемам, в соответствии с последней модной теорией. Чаще всего результаты оказываются прямо противоположными революционным и реформаторским чаяниям. Даже если иные из пожеланий реформаторов сами по себе не дурны, их осуществление связано со слишком дорогой ценой, которую обществу придется платить за эксперименты.

Еще хуже в глазах консерваторов выглядит эстетствующая “богема”, которая превращает “свободомыслие” в проповедь вседозволенности. Под прикрытием “политической корректности” свобода слова оказывается орудием в руках каких-нибудь “сексуальных меньшинств”, но ее лишены те, кто работает, воспитывает детей и платит налоги, на которые живут все эти не всегда нормальные “вольнодумцы”. Поэтому консерваторы считают правомерным контроль за национальными СМИ —

разумеется, с соблюдением всех демократических норм. Если они содержатся за счет большинства налогоплательщиков, то не должны становиться вотчиной одних групп в ущерб другим. При этом консерваторы всячески поддерживают частные издания и каналы — чем больше у человека источников информации, тем меньше он зависит от каждого из них.

Левые постоянно обвиняют консерваторов в том, что они отстаивают привилегии имущих. Но во всем мире за консервативные партии голосует огромное число лиц, у которых нет ни земельных владений, ни привилегий, что не объяснить влиянием пропаганды. К ней ничуть не меньше прибегают либералы или социалисты, да и средств у них сегодня не меньше, чем у консерваторов. Существует огромный слой людей, которые консервативны именно по своим ценностям, а не в силу собственнических инстинктов или “ложного сознания” — нет оснований считать, что сознание социалистов или либералов является более “истинным”. Это люди, которые с недоверием относятся к революционным проектам, выступают против релятивизации морали и экспериментов в искусстве. Чаще они живут не в мегаполисах, но в провинции — консерватизм вообще провинциален, его сторонники не-

долюбливают большие города, в которых растворяются местные традиции и диалекты, где живут люди-призраки, не помнящие родства. Ни одна массовая партия не может игнорировать этот широкий слой избирателей, и если она желает победы, то неизбежно должна считаться с их мнениями и интересами. Так как среди них много людей пожилого возраста, у которых имеются накопленные средства, то у консервативных партий имеется явное преимущество в борьбе за голоса: рост перераспределения означает увеличение налогов на капитал или наследство, он может способствовать инфляции, которая съедает накопления. Этим людям нужны крепкая национальная валюта и низкая инфляция. Избиратель консерваторов чаще живет в собственном доме, имеет не так уж много денег на банковском счету, ходит в церковь, не доверяет демагогам и образует то "молчаливое большинство", которое трудится и исправно платит налоги, а потому не любит бездельников и болтунов.

Демократия

О политических режимах нельзя судить на основании того, что они сами о себе говорят — даже наихудшие диктатуры

прикрывались словами о "народном благе". Мы помним о "развитом социализме" с его бесконечными плакатами с надписями вроде "Народ и партия едины". Но и о западных парламентских демократиях не следует судить по тому рекламному образу, который был создан в пропагандистских целях. Нет общества, в котором подавляющему числу его членов не приходилось бы добывать себе пропитание "в поте лица своего", занимаясь чаще всего не слишком интересной работой. Повсюду имеется слой бедных, убогих, неприспособленных и отверженных. Еще в 20-е гг. вынужденный эмигрировать из России П.Сорокин развеял миф, согласно которому наступает эпоха равенства всех со всеми. Если вспомнить о том, что богатые страны составляют где-то шестую часть населения Земли, то вряд ли придет мысль о вселенском уменьшении неравенства. Даже в самих этих странах с высоким уровнем жизни экономическое и социальное неравенство по-прежнему велико. Западные общества представляют собой умеренные олигархии, где решения принимаются от имени "народа" довольно узкими элитами, думающими в первую очередь о собственных интересах.

Из этого не следует "революционное" стремление все экспроприировать, а по-

том поделить “по справедливости”. Опыт не только нашей собственной истории, но и истории многих других эпох и стран показывает, что в результате все оказывается в руках новой олигархии, причем куда более хищной и жестокой, чем прежние. Любое общественное устройство далеко от совершенства, и в цели желающих нормально жить людей входит не переворачивание всего с ног на голову, но создание сносных условий для большинства живущих. Всегда есть мечтатели с безумными мечтами об “исцелении” человечества от всех язв и посюстороннем счастье каждого человека. Но попытки реализации таких утопий завершались тем, что самым этим мечтателям сносили головы их собственные выученики. Даже если считать общество безнадежно больным, то нужно уметь жить со своими болезнями, не обращаясь за лекарствами к шарлатанам. Нужно принимать мир таким, каков он есть.

Это относится и к политической организации общества. Мы живем в эпоху демократии, но связано это не с абсолютным равенством и полной свободой делать все, что пожелаешь. Демократия вообще не сводится к форме правления, предполагающего свободу слова и парламентские дебаты. В средневековой Англии или Фран-

ции парламенты существовали в ту пору, когда заседали в них бароны, широко пользовавшиеся свободой слова и дела. В той же Англии, на родине современного парламентаризма, всеобщее избирательное право существует не так уж давно, а женщины в большинстве стран получили избирательные права только в XX веке, хотя они составляют половину рода человеческого (да еще и “лучшую”). Поэтому нет нужды делать из парламентской демократии некий фетиш и произносить на каждом шагу клятвы верности, словно речь идет о каких-то магических заклинаниях. Нужно понять то, что иные режимы — не так давно правомерные — уже не годятся для нашего времени, и сделать отсюда необходимые выводы относительно пригодных в обстоятельствах той или иной страны форм демократического устройства.

Современная демократия связана прежде всего с исчезновением сословий и юридическим равенством граждан. Демократия пришла на смену аристократии и монархии, и в этом смысле все европейские режимы XX века демократичны в сравнении со своими предшественниками. Даже однопартийные диктатуры были “демократичны”, поскольку не знали словесного деления — каждый немец мог стать оберштурмбаннфюрером СС, каж-

дый член КПСС мог сделать карьеру и оказаться на высоких постах в партийной иерархии. Мы живем в эпоху выравнивания, когда стираются расовые, возрастные, половые, сословные и кастовые различия, когда исчезают прежние четко очерченные человеческие типы. Сравнительно недавно принадлежность к сословию или группе определяла физический и психический облик человека. Если в прошлом статус брахмана или шудры, рыцаря, купца, крепостного задавали чуть ли не весь порядок жизни индивида, то сегодня он в огромной мере независим от тех социальных и профессиональных групп, в которые он входит. На протяжении своей жизни он может поменять множество занятий, может выдвинуться в практически любую элиту — для этого нет освященных традицией препятствий. На личность человека все большее влияние оказывает то, как он проводит свободное от работы время. Он сам волен решать, что ему делать, кем становиться. Экономическое неравенство может при этом не только уменьшаться, но даже возрастать: первый период развития капиталистической экономики способствовал росту такого неравенства и даже пауперизации масс в условиях демократии и свободы. Важно то, что разделение труда, специализация, урбаниза-

ция привели к обществу самостоятельных людей, которое требует от каждого приложения индивидуальных усилий. Один мог унаследовать огромный капитал, но он может все проиграть на бирже или не выдержать конкурентной борьбы; другой выходит из социальных низов, а затем делается миллионером, армейским генералом, кинозвездой, президентом великой державы. Такое общество уже не знает наследственных привилегий, им невозможно управлять монархически или деспотически, поскольку такое правление противоречит именно их самостоятельности, активному труду на собственное благо.

Исторически консерваторы всегда были, скорее, сторонниками аристократии, а не демократии. Власть толпы не менее деспотична, чем власть тирана. Главным для них был вопрос о благе и справедливости, а демократия далеко не всегда им содействовала. Но было бы не вполне точно записывать их в противники народовластия как такового — самым суровым образом они порицали тиранию, которая часто рождается из разлагающейся демократии. Консерваторы вслед за Сократом и Цицероном ставят на первое место компетентность тех, кто правит; ими совсем не обязательно являются самые богатые и знатные, но нищие и малограмотные мо-

гут поддаться на обещания какого-нибудь демагога. Самостоятельные, а потому зажиточные люди хотят сохранения порядка из страха потерять свой достаток, те же, кому “нечего терять”, только задним числом понимают, что их обманули, и вместо улучшения своей участи они оказываются в настоящем рабстве.

Хотя среди консерваторов до сих пор немало людей, ностальгически вспоминающих о монархии как “старом добром времени”, консерватизм не равнозначен монархизму. Выше я уже говорил о том, что для значительного числа консерваторов историческим образцом вообще были не европейские монархии, а древнеримская республика; абсолютная монархия подвергалась ими критике за деспотизм и бюрократический централизм. Важна не форма правления, но содержание. Сегодня мы имеем примеры конституционных монархий, вроде Швеции или Голландии, которые вполне сочетаются с самой полной реализацией социалистического “проекта”. В современной России, наряду с искренними монархистами, о восстановлении династии Романовых мечтают откровенные противники русской государственности — достаточно вспомнить о тех, кто устраивал “шоу” с участием юного Гогенцоллерна. Следует иметь в виду и то,

что возвращение к монархии воспрепятствовало бы объединению вокруг России стран “ближнего зарубежья”. Консервативная “идея” в России совсем не обязательно связана с монархией, с учением о “симфонии” государства и православной церкви — помимо представителей других конфессий гражданами России являются миллионы равнодушных к религии людей.

Консерватизм не вступает в противоречие с демократической формой правления, но в самой демократии он видит именно возможность “политии”, “универсальной аристократии”, власти наиболее компетентных и достойных, выбираемых независимо от их происхождения или достатка. Вместе с тем, демократия всегда представляет собой риск — она может обернуться анархией, охлократией, привести к тирании. Но в современном мире ей нет альтернативы.

Меритократия

Современный консерватизм в известной степени можно считать наследником классического либерализма 19-го века с его требованиями гражданских и политических свобод, ограничения вмешательства государства в экономику и в личную жизнь человека. Современный либера-

лизм далеко ушел от своих истоков и многое перенял не только у социалистов, но также у ряда движений в защиту прав разного рода меньшинств. Сегодняшние либералы на Западе все в большей степени перенимают социал-демократическую программу государственного регулирования не только экономики, но и еще целого ряда областей жизни. Никто не станет возражать против всеобщего медицинского страхования или государственных стандартов образования. Но западные “левые” пошли много дальше, вводя самые разнообразные квоты для меньшинств. Они отошли тем самым от идеала меритократии, во имя которой либералы (и “левые” вообще) выступали в прошлом против всех форм дискриминации. Таковыми можно считать любые ограничения прав человека в силу его принадлежности к какой-то группе, когда о нем судят не по его личным достоинствам, но как о представителе касты, сословия, расы, пола, класса и т.п. групп. Теперь многие либералы поддерживают не только систему перераспределения, при которой богатые оказывают помощь бедным. Не только преуспевающий бизнесмен, но и любой платящий налоги труженик помогает сегодня не столько действительно нуждающимся, сколько огромному числу тех, кто просто

не желает работать. Речь идет совсем не обязательно об “униженных и оскорбленных”, о детях бедняков, которым требуется нормальное образование и медицинская помощь. Приведу лишь один пример из области образования. В ФРГ выходцы из бедных семей чаще всего не получают полного среднего образования и начинают работать сразу после школы, тогда как дети из состоятельных семей поступают в университет. Но именно у них средний срок обучения в высшей школе составляет около 18 семестров (9 лет), а если исключить технические вузы, то более 20 семестров. Молодые люди годами “ищут себя”, зачастую не слишком обременяя себя занятиями: не так уж плохо до 30 лет продлевать ученические годы. Образование никогда не бывает “бесплатным” — в данном случае за неэффективную систему платят все, в том числе и те сверстники бездельников, которые десятилетием раньше начали работать. Содержание одного студента за год составляет среднегодовую зарплату квалифицированного рабочего, которая в Германии весьма высока.

Еще больше вопросов вызывает система квот, когда те или иные индивиды получают места университетских профессоров или муниципальных чиновников

только потому, что они принадлежат той или иной группе. Принципы прежнего либерализма тогда грубейшим образом нарушаются: личность вновь интересуется менее, чем пол, раса или принадлежность к какому-то экзотическому меньшинству. При этом идеологи такой “справедливости” ссылаются на какие-то факты истории: негры были некогда рабами, женщин не допускали в университеты, гомосексуалистов преследовали и т.д. Но у девушки из сегодняшнего среднего класса вряд ли есть основания для ссылок на “вековую эксплуатацию”, когда она желает получить место по квоте. Почему бы тогда не ввести квоты для детей пьяниц или преступников, которые явно страдали в детстве больше, чем большинство желающих воспользоваться подобной возможностью. Вполне понятно желание обрести привилегии, указывая на трудности своих предков. Мы имеем дело с любопытным вырождением самого требования привилегий: в прошлом ссылались на заслуги предков, сегодня требуют льгот, вспоминая о низком их положении. При этом нужно еще раз сказать, что требования эти идут не от действительно нуждающихся в помощи, а от тех, кто просто желает облегчить себе продвижение. Радикально-феминизма придерживаются не амери-

канские работницы, не многодетные негритянки, но белые дамы из более чем благополучных семейств, желающие получить места только на основании половых признаков. Будучи еще не президентом США, а губернатором Калифорнии, Рейган в шутку поставил вопрос таким образом: если учесть, что среди университетских преподавателей преобладают “левые”, то почему не ввести квоту для консерваторов? Почему не ввести квоты на богословских факультетах для представителей каких-нибудь сатанистов, выступающих как преследуемое меньшинство, почему любителям астрологии не потребовать для себя известного числа мест профессоров астрономии — разве их не “угнетает” научное сообщество? Хотя тенденция к выравниванию характерна для всех демократических обществ, можно сказать, что “политическая корректность” представляет собой типичный продукт с надписью *made in USA*. Возникшее из разных групп переселенцев общество может впасть в череду конфликтов, когда в борьбе за перераспределение все они жалуются и выясняют, кто из них “более страдал” на протяжении совместной истории. Идеологические дебаты американского “праздного класса” навязываются всему миру

вместе с прочими прелестями American style of life.

Популистские требования равенства не возможностей, но результатов, предполагают в качестве конечной цели полное выравнивание людей, причем не только по собственности, но также по образованию и культуре, знаниям и умениям, даже по умственным и физическим способностям — несправедливым тут становится всякое различие. Разумеется, нынешние либералы и социалисты никогда не признаются в том, что они преследуют подобные цели. Но если присмотреться повнимательнее к программам партий, к трудам либеральных теоретиков (вроде Дж.Роулса) и левых публицистов, то оказывается, что одним из основных объектов их нападков является именно меритократия. Главным источником выдвигаемых ими требований является не стремление к справедливости, но зависть. Ницше использовал для обозначения инстинктивных побуждений таких “борцов за равенство” французское слово *ressentiment*, которое соединяет в себе оттенки “злости”, “злопамятства”, “зависти”. Дурным для носителя *ressentiment* становится все то, что недостижимо выше и лучше. Можно вспомнить басню, в которой лиса говорит “зелен виноград” только потому, что не может до него дотянуться.

В устах множества проповедников равенства слышатся те же самые нотки: “демократичным” и отвечающим “политической корректности” оказывается уравнивание великих творений с мазней, хрипом и косноязычием, словно в живописи, музыке или литературе существует “демократия вкуса”. Во всех этих областях, равно как в науке или религии, ими отвергаются все авторитеты. К теориям Маркса и Фрейда прибегают в целях “разоблачения” тех идеалов и ценностей, которые недоступны для левых “интеллектуалов”, и уже по этой причине считаются “недемократичными”. Когда из университетской программы предлагают изъять Данте, Шекспира и Достоевского, чтобы заменить их писаниями представителей каких-то меньшинств (такова обычная практика американских поклонников “политической корректности”), то главной причиной здесь является профессиональная непригодность преподавателей, получивших свои места по квотам, а потому отстаивающим теперь интересы этих меньшинств. Но с подобными явлениями мы сталкиваемся буквально во всех областях жизни.

Система квот широко практиковалась в СССР, и вела она к множеству злоупотреблений именно в сфере образования. Квотами для определенных социальных и на-

циональных групп слишком часто злоупотребляли тем, в чем ведении находилось их распределение. Сошлюсь на личный опыт преподавателя МГУ: “национальными” квотами для представителей республик бывшего СССР пользовались прежде всего дети тамошней номенклатуры, а места детей рабочих занимали комсомольские функционеры. Чем больше появляется такого рода квот, тем больше тех, кто использует их в своих личных целях. У нас нет критерия для предпочтения одних меньшинств другим, и вряд ли большого утешит то, что плохой врач получил диплом только потому, что он представляет какую-то малую по численности группу. Если последовательно проводить эту “либеральную” идею, то из наших национальных меньшинств больше всего прав на льготы имели бы цыгане, а если считаться с голосами феминисток, то цыганки должны были бы считаться именно той группой, которая заслуживает мест в парламентах, фирмах и университетах.

Как уже было сказано выше, консервативная мысль считает высшей формой власти авторитет, т.е. добровольное подчинение тем, кто компетентен, обладает своими умениями за счет образования, таланта, энергии. Принцип авторитета предполагает четкое различие между бо-

лее и менее способными, которое становится “дискриминацией” только в глазах законных наследников Шариковых и Швондеров. Там, где отменены все авторитеты, власть неизбежно обретает черты откровенного насилия; социальная иерархия и тут не исчезает, но на вершинах оказываются проходимцы, уступающие затем место диктатору.

Противники меритократии приписывают консерваторам элитарное пренебрежение к “простому человеку”. Для консерваторов не существует “простых” людей — личность всегда “сложна”. На “простого человека” чаще всего ссылаются демагоги; пословица не зря говорит нам, что иная простота хуже воровства. Уважения достоин любой законопослушный труженик, но не всякого человека мы почитаем как лучшего в той или иной области. Не только в науке, искусстве, спорте, бизнесе, но и в делах государственных происходит отбор лучших. Консерваторы видят в парламентской демократии не фетиш, не панацею от всех бед, но способ отбора лучших в мире политики. Это задает стиль консервативной политики — консерватор обращается к разумному интересу и ценностям избирателей, он избегает популистской демагогии, экстремизма, заигрывания с толпой. Он желает представлять

равных с ним по правам и близких по ценностям граждан; единственное его отличие заключается в том, что он более компетентен и способен отстаивать их интересы лучше, чем его конкуренты.

Демократический режим вовсе не означает выравнивания всех и во всем — это убило бы саму жизнь. В условиях демократии каждому должен быть открыт путь к любым постам — все решают его энергия, настойчивость, ум и воля. Конечно, этот идеал весьма трудно реализовать. Потомок миллионера получает в наследство не только капитал, но также огромные возможности в получении прекрасного образования, связи и т.п. Но он может оказаться никудышным менеджером, все промотать и опуститься на дно, тогда как выходец из низов способен подняться на любые высоты в бизнесе, политике, армии, администрации. Можно согласиться с тем, что государство должно предоставлять всем шансы на получение добротного общего и профессионального образования, но знания и умения не являются каким-то товаром, который можно просто “приобрести”. И дело здесь не только в разных умственных способностях — социальный статус индивида не определяется его IQ (у знаменитого футболиста или певца славы и денег больше, чем у лауреата Нобелевской

премии). Важны личные усилия самого человека, и преодолевавший большее число препятствий выходец из рабочей семьи обладает куда лучшими волевыми качествами, а они значат ничуть не меньше, чем изысканное воспитание, полученное с помощью гувернеров.

Меритократия означает свободную конкуренцию по строго установленным правилам. Борьба без правил выливается в “войну всех против всех”; прекращение конкуренции умертвляет не только экономику, но и любую общественную жизнь. В одних странах на какое-то время приоритетом может стать борьба за равенство, поскольку чрезмерное неравенство угрожает революцией, не говоря уж о моральной стороне дела. Социологи и экономисты давно установили, что при децильном коэффициенте (соотношение доходов 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных) более 10:1 индустриально развитые страны вступают в полосу нестабильности, а при 20:1 они оказываются в революционной ситуации. С другой стороны, “уравниловка” тормозит экономическое развитие, а полное равенство возможно только в первобытном племени. Даже в достигшем относительного изобилия обществе сохраняется неравенство доходов. Преодолевая нехватку продуктов

питания и прочих предметов потребления, современное общество создает нехватку других благ — информации, свободного времени, знаний и культурных ценностей. Нехватка всегда относительна, она измеряется ценой, которую мы готовы платить за обретение того или иного блага. В перенаселенном обществе ощутима нехватка земли и растет стоимость жилья, в современной технической цивилизации столь же ощутима нехватка специалистов, будь они учеными, военными, менеджерами или политиками. Для того, чтобы стать компетентным специалистом, требуются долгие годы труда, а “цена” знаний и умений становится все большей. Узкий специалист сегодня вынужден постоянно перучиваться, а для этого он должен обладать развитым умом и высокой культурой — они также становятся “дефицитом” массового общества.

Иными словами, сами тенденции развития современного общества способствуют появлению новых элит. Они отличаются от прежних уже тем, что каждому человеку открыт доступ к любым постам. Нынешние беды России во многом обусловлены именно тем, что в советские времена правила селекции были таковы, что в ряде важнейших областей высшие позиции занимали худшие: если в науке, спорте, ис-

кусстве, армии, дипломатии хотя бы отчасти шел отбор лучших, то пронизывавший все общество партийный аппарат был образцом негативной селекции. В немалой мере это относится и к последним десяти годам, поскольку в нынешних условиях “правила игры” в экономике и политике ведут к захвату высот криминальной публикой, лучшие ученые стоят перед альтернативой “голодать или уезжать”, в литературе и искусстве известности и денег добиваются кривляющиеся ничтожества. Хуже того, утрачивается колоссальный капитал знаний и умений инженерно-технической элиты. Мы живем в мире перевернутых ценностей, и настоящая политика заключается сегодня в том числе и в восстановлении нормальной иерархии и в обществе, и в головах людей.

Собственность

Споры о собственности, имущественном неравенстве имеют долгую историю. Еще Аристотель, порицая предложенное Платоном уничтожение частной собственности, замечал: “К тому, что составляет предмет владения очень большого числа людей, прилагается наименьшая забота. Люди заботятся всего более о том, что принадлежит лично им; менее заботятся они о

том, что является общим, или заботятся в той мере, в какой это касается каждого"²⁰. Консерваторы не являются защитниками той или иной конкретной формы частной собственности — они бывали вызывающе аморальными и несправедливыми. Рабство, ростовщичество, хищническая эксплуатация не становятся лучше от того, что их сторонники защищали частную собственность. Торговец наркотиками, "прихватизатор" или представитель тоталитарной секты могут быть противниками коммунистической доктрины, но ни один консерватор не станет искать с ними союза, поскольку даже в борьбе с политическим врагом не следует искать друзей среди преступников.

Отстаивая частную собственность, консерваторы отталкиваются от своего понимания человека и общества. Как существо духовное и деятельное, человек своей активностью создает мир культуры. Вещи, которыми он обладает, капитал, который он пускает в оборот, служат его утверждению себя в этом мире, творческому преобразованию природы. Частная собственность означает прежде всего власть человека над вещами, орудиями. Эта власть должна обеспечиваться правом, поскольку захваченное грубой силой нельзя считать собственностью. Чаще всего тот, кто

своровал, забрал обманом или принуждением, не способен творчески использовать отобранное: он может только промотать, прогулять, пропить. Собственность связана с интересом хозяйственного использования вещи, правом свободно распоряжаться ею по своему усмотрению. В хозяйственной деятельности человек сживается с предметами, вкладывает в них свои усилия, свою жизнь. Он "поливает потом" свою землю, он безустанно работает, совершенствуя свое "дело", он стремится к прибыли своей фирмы, которая была им создана или получена в наследство от предков. Он организует действия других людей, он направляет их труд на создание необходимых товаров и услуг, что и дает ему заслуженное богатство. Всем инвестициям предшествует вложение в дело своего труда, сил, свободного времени. Не эгоистическое стремление к богатству ради богатства получает одобрение консерватора, но именно созидательная хозяйственная деятельность. Конкуренция способствует творческому напряжению; богатая сам, собственник обогащает других, все хозяйство страны. Поборники зависти и классовой ненависти уничтожают именно эту творческую силу, а желающие "переделить" собственность социалисты (пусть не экспроприацией, а через про-

грессивные налоги и налоги на наследство) ведут к уменьшению этой силы, к равнодушному и безответственному отношению к делу. Играющая в революцию интеллигентская богема видит в собственниках узколобых “мещан”, не понимая того, что в основании любой цивилизации лежит труд этих созидателей. Частная собственность учит человека различать свое и чужое, уважать права других, распоряжаться доставшимся от предков. Как писал И.А. Ильин: “Частная собственность научает человека творчески любить труд и землю, свой очаг и родину. Она выражает и закрепляет его оседлость, без которой невозможна культура. Она единит семью, вовлекая ее в собственность”²¹. Желая блага своим детям, человек хочет передать им накопленное не для того, чтобы они тут же все промотали; он передает с тем, чтобы они продолжили дело его жизни.

В консерватизме сильно развито именно понимание собственности как личного или семейного дела. Консерваторам чужд по духу экономический материализм как либералов, так и марксистов. Либералов они часто обвиняли в том, что именно сведение хозяйственной деятельности к поиску быстрой прибыли породило тех коммунистов, которые столь же материалистически видят в экономике только передел

доходов между рабочим и предпринимателем. Хотя консерваторы иногда признают частичную справедливость социалистической критики некоторых сторон капитализма, они занимают диаметрально противоположные позиции: тот, кто хочет сломать сложнейшую систему производства и обмена, безумен или преступен. Обещая рабочим справедливое распределение, он готовит систему чудовищного порабощения и угнетения, ибо на место частного интереса как мотива деятельности приходит кнут надзирателя.

Отстаивая рыночную экономику и свободу предпринимательства, консерваторы не становятся на позиции узколобого утилитаризма. Человек живет не для барыша и не для роста валового национального продукта. Он рождается в общине, принадлежит той или иной национальной традиции: семья, сословие, церковь, провинция — вот истинное отечество человека, впитывающего вместе с языком обычаи предков. Когда эти институты в кризисе, то человек остается один на один с безликим массовым обществом, с централизованным государством. Он лишается корней и делается тем самым абстрактным индивидуумом, который предстает в теориях “общественного договора” как

стремящееся к личной выгоде эгоистичное существо.

Консерваторы часто выступали как критики индивидуализма, власти денег, плутократии. Хотя вместе с либералами они являются сторонниками рыночной экономики, в которую не должно вмешиваться государство, у них иные представления о собственности. Различие в расстановке акцентов: под собственностью подразумевается прежде всего недвижимость — дом как место обитания семьи (“мой дом — моя крепость”) и земельная собственность, передаваемая из поколения в поколение. Консервативное мирозерцание характерно в этом смысле не только для феодального землевладельца, но и для огромного числа крестьян, для обитателей небольших городов. Собственность как акционерный капитал для этого мирозерцания является чем-то слишком абстрактным, безличным, даже разрушительным для традиции. Земля не является таким же товаром, как все прочие, ибо она остается той “матерью”, которой не торгуют. Если сегодня консерваторы не возражают против свободного рынка земли, он строжайшим образом регулируется. Деловая активность человека может касаться дальних стран, но он живет в конкретном городе или поселке, он привязан к месту

своего обитания, к кладбищу, на котором захоронены его предки, к школе, которую посещают его дети, к церкви, в которую он ходит сам. Без всех этих привязанностей человек бездомен. Все консервативные правительства (особенно успешно — кабинет Тэтчер в Великобритании) оказывали максимальную поддержку строительству индивидуального жилья. Собственный дом с небольшим участком земли — вот экономическая основа крепкой семьи, но одновременно такая программа жилищного строительства становится настоящим мотором для целого ряда отраслей промышленности.

Сегодня консерваторы (в отличие от так называемых “неоконсерваторов”, являющихся, по существу, либералами) критически оценивают издержки “глобализации”, предоставляющей огромные возможности для разрушительной деятельности международных финансовых групп. Финансовый сектор экономики для консерваторов необходим, но вторичен по своему значению. Современный консерватизм в экономике означает поддержку мелкого и среднего бизнеса, жесткий контроль за естественными монополиями, препятствия на пути олигархических групп, стремящихся к монопольному положению. Свобода конкуренции предпо-

лагает антитрестовское законодательство. Консерваторы стоят за протекционистские меры, защищающие собственного производителя. Это не означает политики автаркии — внутренняя и международная конкуренция необходимы и полезны. Но консерваторы не верят в магию слов, вроде “глобализации” или “свободы торговли”. Во всем мире считаются с сильными, с теми, кто лучше других отстаивает собственную экономику, интересы своих предпринимателей и рабочих.

Видя фундамент рыночной экономики в деятельности миллионов самостоятельных мелких и средних предприятий, консерваторы прекрасно понимают, что производство самолетов или автомобилей, станков или компьютеров осуществляется не семейными фирмами, но мощными акционерными обществами. Они стремятся уже не к максимизации прибыли, но к стабильному экономическому росту, они создают рабочие места и платят львиную долю налогов. Консерваторы всячески поддерживают крупный национальный капитал, они понимают все выгоды инвестиций в реальный сектор транснациональных корпораций. Подозрения у них вызывает только тот международный финансовый капитал, который приходит не с созидательными целями, но для получения

сверхприбылей на игре с курсами валют и акций. Для защиты от такого спекулятивного капитала требуются согласованные меры законодательной и исполнительной власти.

У консерваторов стран с разными традициями различаются подходы к государственной собственности. В США она крайне мала в процентном отношении, в Западной Европе ее роль значительна. Есть сектора экономики, где она господствует, в Италии, Франции, Германии. Приватизация железных дорог в Англии сделала их более дорогими, ухудшив одновременно качество обслуживания; немцы десятилетиями летали на самолетах “Люфтваганзы”, принадлежащей государству, — им бы и в голову не пришло поделить ее на сотни фирм с несколькими самолетами в каждой, поскольку важна все же не форма собственности, а безопасность пассажиров. Во Франции даже после ряда приватизаций крупнейшие концерны и банки остались в руках государства. Существуют области, в которых конкуренция должна уступать место государственному контролю. В одной стране даже тюрьмы могут стать частными, в другой не только военные заводы, но и целые отрасли находятся в государственной собственности. Решающее значение здесь имеют не идеологические

соображения, но учет традиций страны, логика дела. Ни приватизация всего и вся, ни тотальное огосударствление не являются желательными. Мировой опыт показывает, что не менее двух третей предприятий должны находиться в частной собственности, — иначе рыночная экономика не работает. В российских условиях ряд крупнейших предприятий и некоторые отрасли (атомные электростанции, военная промышленность, железные дороги и т.п.) могут оставаться государственными. Вопрос заключается в контроле государства за своей собственностью, которая должна использоваться на благо всего общества, а не узкого круга лиц. Единственной монополией государства для консерваторов всех без исключения стран является монополия на сбор налогов и на легитимное физическое насилие. Они являются необходимым условием мирного труда, сохранности его плодов, собственности и порядка. Если люди перестают платить налоги, органы правосудия продажны, а частные армии и банды становятся “крышами”, немыслима никакая эффективная экономика. Можно сказать, что в наших сегодняшних условиях наиболее разумным было бы вложение средств в действующую налоговую систему, органы правопорядка, таможенного контроля. Дело не

только в “полезности” (эти средства быстро вернулись бы сторицей), но также в авторитете государственной власти, справляющейся с коррупцией и откровенным беззаконием.

Консерваторы не возражают против прогрессивного налогообложения: богатые должны делиться с бедными. Европейские консерваторы ничуть не меньше, чем социал-демократы и либералы, являются сторонниками “социального рыночного хозяйства”, предполагающего значительное перераспределение. Но у него имеются пределы: предприниматель и добросовестно платящий налоги труженик не обязаны содержать паразитов; из страны со слишком высоким уровнем налогов неизбежно начинает “бежать” капитал; предпринимателям не хватает средств для инвестиций в новое оборудование и т.д. При чрезмерном перераспределении высока вероятность инфляции, которая бьет по карману не столько “капиталистов” (у них средства вложены в акции), сколько мелких и средних собственников, пенсионеров, лиц свободных профессий. Поэтому консерваторы склонны к проведению жесткой финансовой политики, что не означает полного принятия “монетаризма”. Отношение к тем или иным инструментам рыночной экономики у консерваторов

прагматичное: в одних ситуациях нужно обращаться к рецептам Чикагской школы, в других — к кейнсианским методам повышения спроса. Догматики встречаются и среди консерваторов, но “тэтчеризм” и “рейганомика” отвечали потребностям 80-х гг., тогда как сегодня правящие и оппозиционные консервативные партии в значительной мере отошли от односторонности монетаризма. В конечном счете, настоящих политиков отличает ответственность за благо собственного народа, а не зашоренность прочитавших несколько учебников писак, шамански повторяющих одни и те же заклинания. Жизнь слишком сложна, чтобы подчиняться паре расхожих формул.

Консерватизм в России

Как и в Западной Европе, предшественниками консерватизма у нас были аристократы, отстаивавшие не только сословные привилегии, но и права частного лица от вмешательства деспотической государственной власти. От князя Курбского через князя Щербатова с его историей “повреждения нравов” и вплоть до Пушкина и некоторых декабристов мы находим черты аристократического свободолюбия. П.Б.Струве принадлежит такая характеристика Пушкина: “величайший русский идейный консерватор”. “Выбранные места из переписки с друзьями” Гоголя можно считать одним из первых произведений русского консерватизма. И у славянофилов, и у некоторых западников мы можем найти близкие консерватизму суждения: как наш первый западник Чаадаев, так и виднейший теоретик славянофилов Хомяков по своим политическим воззрениям могут быть отнесены к консерваторам. Примером консервативной политики является деятельность некоторых минис-

тров Александра II, причем не было случайностью то, что в освобождении крестьян столь значительную роль сыграл младший представитель славянофильства Ю.Ф. Самарин. В дальнейшем среди высших сановников государства Российского мы встречаем истинных консерваторов, вынужденных считаться с косностью двора и не находящих поддержки у образованного “общества”, поддерживавшего революционеров и нигилистов. Достаточно вспомнить о судьбе Витте и Столыпина. Последний емко сформулировал донныне не устаревшую антитезу: “Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия”. Обычно приводят только последнюю фразу, забыв о том, что величие России Столыпин связывал с памятью о прошлом и с культурными традициями, а не только с военной или экономической мощью. Можно сказать, что им была дана самая краткая формула российского консерватизма и указан главный противник. Существовал и народный консерватизм купцов и казаков, мещан и приказчиков, ремесленников и духовенства, который только большевики и их духовные наслед-

ники огульно записывают в “черносотенство”. Консерватизму были близки многие земские деятели, октябристы, даже некоторые кадеты, но вплоть до 1917 г. российская монархия стояла на пути не только либералов и социалистов, но и просвещенного консерватизма.

Как и на Западе, к консерваторам в России относились и монархисты, и республиканцы, и яркие критики всякой модернизации, и ее последовательные сторонники. Воззрения Кавелина отличаются от взглядов Каткова, Достоевский критиковал Лескова, Струве и Розанов обменивались резко отрицательными суждениями. Полное единообразие бывает только в казарме, а полный покой — на кладбище, тогда как консерваторы прошлого были живыми людьми. Сегодня нам ясно, что далеко не все консервативные проекты выдержали проверку временем, и монархический консерватизм с его идеями “белого царя” и “народа-богоносца”, идеализирующий сословное деление и крестьянскую общину, имеет исключительно историческую ценность. Но к такого рода утопиям русский консерватизм не сводился и век назад: нашим нынешним “реформаторам” не помешало бы лучшее знание деятельности Витте на посту министра финансов. Важнейшие реформы, ведущие

страну к модернизации, осуществлялись в России именно консерваторами, тогда как разрушали страну проповедники “прогресса” и разнуздания революционной стихии. Как суровое предупреждение мы читаем сегодня слова П.Б. Струве, сказанные в 1919 г.: “Мы потерпели крушение государства от недостатка национального сознания в интеллигенции и народе. Мы жили так долго под щитом крепчайшей государственности, что мы перестали чувствовать и эту государственность, и ответственность за нее... После того, как толпы людей метались в дикой погоне за своим личным благополучием и в этой погоне разрушали историческое достояние предков, нам ничего не остается, как сплотиться во имя государственной и национальной идеи. Россию погубила безнациональность интеллигенции, единственный в мировой истории случай забвения национальной идеи мозгом нации”²². Высшей политической целью для консерватора является процветание отечества; сегодня эта цель достижима только на пути модернизации. Место России в мире XXI в. и благополучие ее граждан зависят от сегодняшних инвестиций в наиболее конкурентоспособные отрасли, от уровня научных исследований в университетах и лабораториях. К прошлому консерватизм

обращается ради настоящего и будущего, а в самой консервативной традиции отыскивает то, что не утратило своей значимости.

Нужно вновь подчеркнуть: консерватизм не есть охранительство, поддержка отжившего и устаревшего, но политика разумных реформ. Поэтому к консервативным мыслителям в России относятся не только Победоносцев или Тихомиров, Леонтьев или Розанов, но С.Трубецкой, И.Ильин, П.Струве, С.Франк и ряд других блестящих философов и публицистов “серебряного века”, которых никак нельзя записать в “реакционеры”. Их идеи не были востребованы на родине, где победила наряженная в заморский идеологический кафтан пугачевщина. Не принадлежавший к консерваторам Н. Бердяев дал, пожалуй, самую яркую характеристику консервативных начал: “Консерватизм поддерживает связь времен, не допускает окончательного разрыва в этой связи, соединяет будущее с прошлым. Революционаризм поверхностен, оторван от онтологических основ, от ядра жизни. Эта печать поверхностности лежит на всех революционных идеологиях. Консерватизм же имеет духовную глубину, он обращен к истокам жизни, он связывает себя с корнями... Истинный консерватизм есть борьба веч-

ности со временем, сопротивление не-тленности тлению. В нем есть энергия не сохраняющая только, но преобразующая”²³. Консервативное мышление исторично, и не случайно все три великих отечественных историка — Карамзин, Соловьев и Ключевский — могут быть записаны в консерваторы (а Карамзина можно даже считать первым русским идеологом консерватизма). Любовь к отечеству воспитывается не шовинистическими криками, но знанием истории своего города, губернии, всей истории российской, причем не только вершин в этой истории. Чтобы преодолеть нынешнюю смуту, нужно помнить о прошлых.

У нынешних российских консерваторов были великие предшественники, но одних ссылок на Пушкина и Карамзина, Достоевского и Лескова мало для того, чтобы выдвинуть реально исполнимую программу даже в культурной области. Сознание не только политических элит, но и ведущих предпринимателей, военных, деятелей культуры оторвано от национальной традиции, отданной на откуп коммунистам и фашистам. В каком-то смысле русским консерваторам приходится начинать свою политическую деятельность даже в худшем положении, чем либералам и социалистам. И тем, и другим могут ока-

зать поддержку зарубежные “спонсоры”; и те, и другие держатся интернациональных и космополитических доктрин, разделяемых правящими партиями ряда ведущих стран мира. Консерваторы же повсюду держатся национальных интересов своих отечеств и не занимаются прозелитизмом (его не нужно путать с подкупом “агентов влияния” — нормальной разведывательной и подрывной практикой всех держав). Помощи извне нам ждать не приходится. К тому же “правый фланг” в общественном сознании неизбежно ассоциируется с лицами, которые провалили реформы, привели к нищете и голоду десятки миллионов соотечественников, да еще и явно связаны с заграничными центрами влияния. Как то ни парадоксально, на сегодняшний день избирателями явно враждебной консерваторам коммунистической партии является огромное число лиц, которые в других условиях были бы опорой именно настоящих российских правых. Во всех западных странах за консерваторов голосуют лица с техническим и естественнонаучным образованием — инженеры, техники, врачи, агрономы. Квалифицированный специалист и даже рабочий, обладающий собственным домом, небольшими накоплениями и живущий трудом своих рук, предпочитает голо-

совать за правые политические партии. Ему нужны стабильность, порядок, отсутствие преступности, продажности властей, умеренные налоги. Тем более это относится к предпринимателям, к мелкому и среднему бизнесу. Никто не хочет платить налоги, чтобы содержать раздутый чиновничий аппарат или просто воровские шайки, присосавшиеся к бюджету. Основой любого демократического режима служит слой не обязательно богатых, но добропорядочных и работающих граждан. Бандиты никогда таковыми не станут. Борьба идет, таким образом, за голоса не только предпринимателей (их слишком мало, а после 17 августа — ничтожно мало), но также огромной части лиц наемного труда. Они должны видеть не только собственную выгоду, перспективу для себя или своих детей. Национальная гордость, убежденность в том, что тобой правят не бандиты и подлецы, а именно лучшие, наиболее способные и заслуживающие доверия, является фундаментом и для политической стабильности, и для экономического роста. Люди истосковались по порядку, по работающей хоть по каким-то правилам власти. Значительную часть голосов коммунисты получают только из-за ностальгии по закону и порядку.

Чтобы изменить нынешнее положение дел, те, кто называет себя в России “правыми”, должны вспомнить хотя бы этимологию этого слова — элита может сохранить за собой власть, только следуя праву, обладая не одной лишь силой и финансовыми рычагами, но также правотой — “не в силе Бог, но в правде”. Если консервативная партия нуждается в каком-то понятном всякому здравомыслящему гражданину историческом примере, то таковым является собранное в провинции для одоления смуты ополчение Минина и Пожарского.

Примечания

¹ Аристотель. Политика, Сочинения в четырех томах, М., 1983, с.504.

² L.Strauss: Liberalism Ancient and Modern, p.223.

³ К.Манхейм. "Консервативная мысль", в: К.Манхейм. Диагноз нашего времени. М., Юрист, 1994, с. 614.

⁴ Там же, с.580.

⁵ Д.Юм. Сочинения. М., 1966, т.2, с.766.

⁶ Там же, с.771-772.

⁷ Жозеф де Местр. Рассуждения о Франции. М., 1997, с. 88

⁸ В работе "Капитализм, социализм и демократия" Шумпетер писал о том, что ранее, когда народ был недоволен папой или королем, то он устраивал бунт против данного конкретного папы или короля, но считал само собой разумеющимся существование института папской или королевской власти. Сегодня вопрос звучит иначе: "Зачем нам папы или короли вообще?" Этот вопрос был поставлен буржуа, которому не сразу стало ясно, что подобный вопрос может быть обращен и против него самого. Шумпетер обратил внимание на то, что капитализм унаследовал от прошлых формаций дисциплинированную и послушную рабочую силу; как независимый предприниматель, так и трудолюбивый

вый рабочий являются наследниками средневекового цеха. Шумпетер связывал социально-экономические структуры с институтом семьи. Когда патриархальная семья разрушается, то предприниматель утрачивает стимулы к накоплению, экономической и политической активности. Одним из самых явных симптомов упадка капитализма для Шумпетера выступает падение рождаемости в высших слоях буржуазии. Либералы 19-го века, по его мнению, вообще слишком легко забыли о том, что режим суровой дисциплины на рабочем месте обеспечивался предшествующей эпохой — одни материальные стимулы, стремление больше потреблять недостаточны даже для экономического механизма. Вероятно, среди отцов японского «экономического чуда» были те, кто внимательно читал Шумпетера. Сам по себе капитализм нестабилен, он возник под защитой старых феодальных элит, тогда как демократизация и рационализация ведут к его подрыву. Замена предпринимателя на менеджера, бюрократическая система перераспределения (т.е. элементы социализма) ведет к появлению новой элиты, которая легитимизирует свое положение исключительно ростом потребления. Принципом образования классов делается уровень жизни, а «новая аристократия» ничем не рискует (в отличие от прежнего предпринимателя). Но в таком случае она утрачивает авторитет, в том числе и моральный. «Творческие элиты», командные слои Запада не ставят перед собой иных целей, кроме роста благосостояния и потребления. Но ни одно общество не может долго существовать, имея столь непритязательные идеалы.

⁹ Ф.А.Хайек. Пагубная самодеянность. М., 1992, с.191

¹⁰ Б.Мандевиль. Басня о пчелах. М., 1974, с.65.

¹¹ Н.Винер. Кибернетика. М., 1983, с. 241.

¹² A:Gehlen, Einblicke, Gesamtausgabe. Bd.7. S.133.

¹³ Свидетель петровских преобразований. Ш.Монтескье, не сомневался в том, что русские и до петровских реформ были европейским народом, поскольку иначе эти преобразования потерпели бы крах: «Петр I сообщил европейские нравы и обычаи европейскому народу с такой легкостью, которой он и сам не ожидал» (Ш.Монтескье. О духе законов // Избранные произведения. М., 1955, с.417). Монтескье даже упрекал Петра Великого за насильственность преобразований, за резкие суждения о русском народе: «Легкость и быстрота, с которыми этот народ приобщился к цивилизации, неопровержимо доказали, что его государь был о нем слишком дурного мнения и что его народы все не были скотами, как он отзывался о них. Насильственные средства, которые он употреблял, были бесполезны: он мог бы достигать своей цели и кротостью» (Там же, с.416-417).

¹⁴ Ф.Ф.Зелинский. Из жизни идей. М., 1997, т.2., с. 229.

¹⁵ П.И.Новгородцев. Об общественном идеале. М., 1991, с.574. («Восстановление святынь»).

¹⁶ Назову лишь Ч. Пирса, Х. Ортегу-и-Гассета, Х.-Г. Гадамера.

¹⁷ И.А.Ильин. Путь духовного обновления, Сочинения в двух томах, М., 1994, т.2, с. 194.

¹⁸ Х. Ортега-и-Гассет. Избранные труды. М., 1997, с.115.

¹⁹ П.Б. Струве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997, с.405-496.

²⁰ Аристотель. Политика. Т.4, с. 406.

²¹ И.А.Ильин. Путь духовного обновления. Сочинения в двух томах. М., 1994, т.2, с. 293.

²² П.Б. Струве. Избранные сочинения. М., 1999, с. 272.

²³ Н.А.Бердяев. Философия неравенства. М., 1991, с. 109-111.

Содержание

| | |
|--|-----|
| Предисловие | 3 |
| История | 19 |
| Предшественники | 19 |
| Консерватизм XIX века | 44 |
| Типы консерватизма | 56 |
| Принципы консерватизма | 81 |
| Человек и культура | 81 |
| Традиция | 93 |
| Консервативное видение истории | 103 |
| Родина | 111 |
| Нация | 117 |
| Нравственность и религия | 143 |
| Семья и школа | 149 |
| Государство | 157 |
| Свобода | 157 |
| Власть | 166 |
| Демократия | 178 |
| Меритократия | 185 |
| Собственность | 197 |
| Консерватизм в России | 209 |
| Примечания | 219 |